

Галина ЩЕРБОВА

КАРТИНКИ и СТИШКИ



Книга в альманахе



Галина Щербова родилась и живёт в Москве. В 2002 году окончила Институт журналистики и литературного творчества. Первая публикация (2009) – в журнале «Москва», где в 2010 году получила премию по отделу поэзии. В 2011 году стихи публиковались в журнале «Арион» и в «Литературной газете». Автор трёх сборников стихов (2006, 2009, 2012) и книги прозы «Три желания» (2011). Роман «Картинки и стишки» – о любви и творчестве. На протяжении повествования герои объясняются друг другу в любви, она – стихами, он – рисунками к стихам. Однако все линии любви тупиковые, лишь линия искусства имеет перспективу.

УКОЛ ЛЮБВИ

Лев Аннинский

Каким должно ощущаться бытие, чтобы захотелось озаглавить роман словами: «С точки зрения человека»? (первое название романа «Картинки и стихи» – примечание редакции).

На какие другие точки зрения должно наткнуться сознание, озирающее повседневную жизнь, чтобы человеческая элементарность стала проблемой, которую надо решать?

«Название должно добавлять невидимое, названное. Если названием ничего не добавить, оно излишне».

Хорошо, попробуем добавить, и именно невидимое, названное. Героиня-рассказчица говорит о себе, что умение «видеть и называть» – её главный дар. Правда, она добавляет, что это умение она никак не может «пристроить к делу».

Тогда вопрос: а дела её героини, зафиксированные в биографии, – осуществлены в этой реальности? Школа, институт... Школа, положим, вспоминается ею как нечто бесполезное (хотя аттестат заработан честно), но аспирантура и диссертация – это реальность или самообман?

А замужество, семейный быт, растущие дети – это разве не реальность, имеющая смысл? Тем более, что второй ребёнок, по причинам медицинским, дался чудовищно дорого... И всё-таки что-то («что-то»!) невидимое и называемое уводит почву из-под устойчивого

бытия. Стоит вслушаться в ворчание пришедшего с работы мужа: «Всегда одно и то же! Когда бы ни пришёл, есть нечего, с собакой не гуляем, в доме кавардак, – приподнял чайник, ткнул на место. – Всегда пустой!» Поскольку эти реплики ежевечерне рифмуются, есть смысл попробовать читать их как стихи. Стихи о пустоте чайника, в котором таится что-то, с точки зрения человека неуловимое, неназываемое, непостижимое... Так что впору попробовать точку зрения собаки... или кошки.

Щербова вводит в действие этих участников, называя их поэтически: Песня, Стрекоза, – чтобы мы немного поблуждали в догадках: кто такие? – пока мурлыканье одной и ворчание другой не обретут согласное единство в формуле: «у собаки на душе скребут кошки» – единство реализуется в этой строке иронично-поэтической, витающей над реальностью и неуловимой, как... свет фонаря в чёрноте ночи...

Строй прозы Галины Щербовой поэтичен. Не только потому, что перо у неё чует сначала магию слова, а уж потом – предмет, вокруг которого слово кружит. «Постав сюжета» – такой же, как постав пера. В истории двоящейся влюблённости героини (два избранника, оба недостижимые – в отличие от гуляющего с собакой мужа) стилистику определяет подхват лирических монологов, перемежаемых стихами, а сюжетные истории (коих чи-

татель привычно ждёт от романиста) то и дело отодвигаются на задний план, проглядывая сквозь счастливо-несчастный бред влюблённой...

Ритмами такого лирического бреда Галина Щербова владеет виртуозно. Мотивы переключаются. Цветовая гамма пронизывает всё. Всё рифмуется. Чёрное, синее, серое... Блики, тени, вспыхи...

«Вечер косо фонал со склона длинные источённые тени от усохших юными берёз. Тени линовали склон частыми синими полосами. Как весной, когда ещё нет листьев, а солнце уже слепит и не уходит с неба...»

«Утро проступило болезненной серостью, и выстрелило восходом...»

«Синь вытягивала из комнаты силы, оставляя спрессованные серые выжимки...»

«Мир впитывал синь, как рыхлая промокашка, с нарисованными на ней очертаниями действительности...»

«В неостывшей синеве неба прозрачная луна висела, как зонд, опущенный на землю прощупать глупости здешней жизни...»

Прежде, чем влезть в глупости жизни, вечные под луной, оценим главный поэтический мотив этой симфонии. Фонари.

«Фонари, уложенные в туман, как новогодние шары в тонкую искристую вату, ничего не освещали, но отражались в мокром асфальте...»

«Фонарик – одна из множества местных нелепостей. Здесь постоянно и безуспешно борются с нелепостями... Отчего нелепости так устойчивы? Они не поддаются ударам здравого смысла...»

«Сугроб... светился в луче фонаря. У фонаря не было столба. Он оказался лунной...»

Тут уже чистая философема. Мы подставляем под нелепости конструкции здравого смысла, а оказываемся под луной, в свете (во тьме) которой должны понять, кто мы такие в этой реальности и что такое эта реальность.

Что она такое, проясняется на первой же странице романа. Пока героиня соображает, как ей выполнить задание профессора (сразу заворожившего её и интеллектуальной бородой, и околдовывающей фамилией: «*Большов*»), несколько студентов сходу читают «*гадость*» (которую профессор спокойно поощряет, явно кривя душой).

Гадость – это первое, что предъявляет тебе реальность, когда ты стараешься разглядеть и назвать её.

Любопытнейшая точка зрения человека, родившегося в мирное оттепельное время и выросшего под незабываемые звуки гимнов светлому будущему. И они, эти гимны, продолжают глухо звучать в подсознании, подчиняясь то ли какому-то генетическому коду, то ли приставшей к душе нелепости, которую героиня укрощает в саморазъедающем стиле: «*Инфантильная дура в детском платье*». Может, это «*идеалы сыграли злую шутку*», а может, ещё «*что-то*», что «*носились в воздухе, всем крайне необходимое, а я несла это в себе, сама того не ведая*».

А может, лучше и не ведать? Само неведение способно обрести пронизательность. Философский склад ума, таящийся в щербовском «*лирическом бреду*», иногда диктует поразительные формулы.

«Смерть – банальность, превысившая полномочия».

Полномочия смерти в обстоятельствах очевидности – горьки, и всё-таки уместимы в сознании: можно притерпеться и к неизбежности похорон, и к немощам старости, и даже к трагедии раннего ухода, если он не бессмыслен.

Но всё это – псевдонимы того неопределимого и неотвратимого небытия, которое ни понять, ни оправдать, ни притерпеться к нему нельзя, потому что оно изначально и безначально, бесконечно и всеконечно, неустранимо и неопределимо, таинственно и всеобъясняюще. Смерть как ино-не-бытие.

Умом схватываются только его псевдонимы. И не умом даже (ум отступает), а чувствами, неотступность которых бывает убийственна.

В откровениях героини Щербовой это – *«отчаяние»*. Это *«выползающая откуда-то вязкая тоска»*. И, наконец, *«тотальная скука»* (которая, если вдуматься, пострашнее и отчаяния, и тоски).

Во времена библейские для выяснения причин мирового отчаяния был учреждён Всевышний. Отсутствие которого в идеологическом пантеоне коммунизма моё поколение – последнее поколение советских идеалистов – как раз и восполняло преданностью символическому Светлому Будущему. Будущее обернулось (в позднейшем постсоветском прозрении) глумом комплиментов, в исполнении эмигранта Вадима, одного из двух щербовских светочей любви, звучащих так:

«Ну, что здесь делается? А здесь делается нормальная жизнь. Люди хороши, дружелюбны, симпатичны, предупредительны, открывен-

ны. Уважают Качество. Уважают Труд. Меня. Мне приятно. Я стараюсь. Как всегда, впрочем. Удовлетворён. Правда, не вполне. Но что-то получается, в основном то, что касается моих пространственных поисков».

«Что-то» получается, а *«что-то»* остаётся как знак *«внутренней порчи»*. Что? Скука. Тоска. Отчаяние.

Поколение позднесоветских детей Оттепели по ходу событий тоже кое-что получает – оно получает Бога в частное пользование (всеобщее воцерковление ещё только маячит).

Героиня Щербовой пробует уяснить бытие Божье с точки зрения человека:

«Скверно живётся Богу. Недаром он куражится над нами. Завидует душному уюту, простецкой сытости, непроходимой глупости и спасительному неведению. Но больше всего – способности умирать. Такой симпатичный, а заложник бессмертия. Кто милосерден, чтоб утешить Бога?... ритмизованная строка... И пыль стереть с бессмертного лица... нет, блокнот далеко, устала, не буду записывать, и стих испарится... А человек-предатель, однажды умрёт. А наказать предателя можно, только воскресив его. То есть, наказать жизнью. Что мы в итоге и имеем».

Наказание жизнью – замечательный ответ смерти, освобождённой от пелены псевдонимов. Но как всё-таки связать это с наличной реальностью, от которой некуда деться? Чего не хватает поколению, которого миновало безумие мировых войн?

Вот этюд о Философе, пролива-

ющий свет на этот круг безвыходности:

«Серо-голубой круг. В нём загорелый человек в тоге. Курчавая шевелюра, борода с проседью. Морской берег. Выброшенные волнами извилистые корни. В руке у человека причудливая раковина. Он прислушивается к её голосу. Большая физическая сила, скованная раздумьями...»

Борода наводит на мысль, что это профессор Большой. Но и Вадима, возлюбленного школьных лет, забыть нельзя.

«Философ напоминал Вадима. Не столько внешностью, сколько нежеланием слышать истину. Философ слушал не море, а раковину, играющую смыслами».

Сколько же «смыслов» спрятано в волшебной раковине? Вопрос по существу бессмыслен. А возникает потому, что этих смыслов в текущей реальности нет.

Поколение, которое получило в наследство победившую страну и возможность жить, не погибая ежедневно за эту жизнь, испытывает интуитивный страх потери смысла как спасительного центра этих гибельных противостояний.

Верх и низ бытия грозят поглотить друг друга. Между верхом, изначально непостижимым, и низом, изначально невыносимым, нет грани, нет границы, нет средостения, которое если и не примирило бы их, то хотя бы соотнесло.

Врозь они – неправда. А вместе их не сведёшь. И где что – не узнаешь.

«...Словно это был другой человек, не тот, кого знала в школе. Сжилась с сознанием невосполнимой потери. И тогда же, задним

числом догадалась, что никакой блондинки у Вадима не было. Иначе бы он не собирал лютики. Что-то было неправдой. Или жена, или лютики. Оксана не смогла принять окончательное решение, слишком громадна была любовь из неправд».

Лжи нет, но неправд – сверх головы.

Как это рельефно выявляется в попытке портрета:

«Линия нижних век была прямой. Линия верхних век плавно приподнималась над глазами, чуть отсекая. И было не понять, где сходятся верхняя и нижняя линии».

Распад осмысляемого бытия на равно бессмысленные обломки реализуется в облике двух возлюбленных героини, которых можно любить только порознь.

Как всегда у Щербовой, истина – в стихотворении, которое и вмещает, и вытесняет, и заменяет, и знаменует у неё скрупулёзно описываемую реальность:

*Но не способно, видимо, ничто
Свести в дуэт заведомые соло.*

Любовь – это заведомое соло. В случае взаимности – дуэт. Что ещё может пристроиться на эту эротическую шкалу? Тусовочное потребление чувств – «групповой секс»? Но этот вариант одичавшей реальности Щербову не интересуют. Её интересуют души, действительно взыскующие любви и – натыкающиеся на её фатальную нереальность.

Из двоих избранных героини ни один не способен ей ответить. То есть сказать: «люблю».

Вадим – живописец, художник, – занят своими работами, или, как он формулирует, «пространствен-

ными поисками». В минуту экстаза он задает героине философский вопрос:

– Почему берёзы белые?

Вопрос упирается в неразрешимую антиномию, выход из которой – вовсе не единение любящих душ. Независимо от того, складывает ли возлюбленный букетик лютиков или нет, есть ли у него в потаённой жизни белокурая красавица или её нет, – любовь здесь нереальна. Потому что реальна только работа: листы, холсты... Или наоборот: работа – единственная реальность, потому что чувство к единственной избраннице – ирреальность.

И точно так же неспособен к любви профессор Большов – независимо от того, сокрыта ли у него дома в складках кухонных занавесок законная жена или жены там нет. Неотразимую бороду можно сбрить, обнажив неотразимый подбородок и открыв тем самым (или на время прикрыв) кран эротического общения. Но от настоящей любви этот возлюбленный всё равно уклоняется. Потому что нет в любви для него реальности, а настоящая его реальность – в профессорских занятиях, за успехи в которых зовёт Евгения Сергеевича влюблённая в него женщина: Гений Сергеевич.

Так что и здесь неразрешимая антиномия.

И она же, неразрешимая – в собственной душевной организации героини романа! Вокруг – оцепенение ирреального бытия, в котором нельзя даже произнести слово «люблю». Ибо слова всё испортят. А притом единственный способ оживить реальность – описать её словами. То есть стихами. Для героини Щербовой блокнот со стихами

– то же, что для профессора книги по специальности, а для художника – тюбики с красками. В стихи уходит её неизбежная любовь к художнику. В стихи уходит её неизбежная любовь к профессору. В стихи уходит сама готовность души любить.

Пути ухода:

«Душа уходила не в пятки, а в щёпотъ, вооружённую карандашом, швыряющую на бумагу фразы, россыпи пылкого синтаксиса. Скорость возникновения строк была скоростью, с которой приходит освобождение. Рука неслась по листам, отбрасывая исписанные...»

«...Всё подчинялось скорости. Слова неслись, направленные замыслом. Увлекали быстротой, точностью попадания, но вдруг врезались с размаху в незаметно воздвигнутую преграду и оползали по ней ошеломляющим откровением...»

«...В творчестве я честна... И никогда не лукавлю? В творчестве – никогда. Для вранья есть жизнь, где я цинична и продажна настолько, насколько требует ситуация...»

Жизнь, состоящая из ситуаций, – непреодолимая преграда искренности чувств у двоих избранников героини. И – главное – в её собственной душе. Ты можешь биться в эту реальность, как в каменную стену. *«Череп всмятку. Мозги нежно розовые, тёплые...»* И всё равно *«понимать, догадываться, доискиваться, формулировать, фантазировать, введаться, разбирать, помнить...»* С тем же успехом.

Знать бы волшебное слово, способное преодолеть эту невыносимость, расколдовать эту реальность,

пронзить эту лишённую смысла, омертвелую ткань?

Да есть же оно, есть!

В простоте и общеизвестности этого слова, *никогда* не исчезающего из повседневного обихода и *всегда* готового обнажить сокровенный смысл, спрятана мистическая сила и заключена магическая власть той подлинности, которая сокрыта в мертвеющих тканях обыденщины. Слово, оживляющее застывшую душу:

– *Люблю*.

Или, как это сцеплено миллионы раз на языках всех времён и народов: «*Я тебя люблю*».

В отчаянной решимости оживить этим словом маловменяемую реальность, собрана вся человеческая

энергия Щербовой в финале её романа.

«*Люблю*». Обезоруживающе просто. Недоказуемо. Неопровержимо.

Удар смысла в стену бессмысленности. Азарт, в который вплетена мощная арматура воли и упрямства. Укол любви в застывшую бесчувственность.

Что это? Отчаянный подвиг личности, выламывающейся из всеобщего оцепенения?

Или открытый для всех новый тип любви, который станет спасительно общепринятым в наступающую на нас эпоху?

На последнем предположении лучше не настаивать.



Галина Щербова

Картинки и стишки

РОМАН

1 ЧАСТЬ БУКЕТ ЛЮТИКОВ

1. Учитель.

«Трудное решение легче принять, когда осознаешь его неизбежность».

Реальность проступала сквозь вымысел великолепным ослепительным ликом. Было невероятно жарко для мая. Что-то цвело, неотвратимо распускалось. Горячий ветер смешивался с запахами будущего. Сняла пиджак, несла его, сжав в потной руке.

«Жизнь скупа на радости, но если отпускает их, то все сразу. Слишком много удач. Тридцать шесть лет. Рубеж. И я его беру. Лечу над ним и понимаю, что взяла. И понимаю, что приземляюсь совсем не туда, куда предполагала при разбеге».

Дом могучий, серый, с двумя выступающими гранёными башнями. Пустынно. Тяжёлая дверь, словно навеки запертая.

«Ничего не будет, и я поеду к Розе».

Взялась за ручку, с усилием потянула, помогая себе весом откинувшегося назад тела. Вестибюль дохнул каменным холодом.

– Я на собрание, – охватила взглядом пространство и в нём длинную тонкую девчонку, которая сидела на столе, болтая ногой.

Девчонка кивком указала направление. За неплотно прикрытой дверью просматривались ряды стульев, сидящие на них люди. В сборчатые занавески жарило солнце. Крайняя надулась от ветра, показывая распахнутое окно. За кафедрой высились мужи в пиджаках и бородах. Кто-то говорил, но его не было видно. На цыпочках вошла и села в предпоследнем ряду.

Выступал высокий и могучий. Он тоже имел окладистую бороду.

«Пиджак ему мал. Вот какой величины человек. Нет в мире пиджака ему впору».

Быстро наклонилась, избегая фотоаппарата, нацелившегося на зал. Вспышка блеснула несколько раз, и фотограф уgomонился. Вскинула голову, встретила взглядом с выступавшим.

«Лоб выпуклый. Чело! Впервые вижу его, не знаю, кто он, какой он, но знаю, он будет моим Героем. Моим Главным Героем. Уверена, заметил меня! Всего лишь оттого, что я заметила его... Ме-ня за-ме-тил-от-то-го что-я за-ме-ти-ла-е-го... Опять строка дышит стихотворным ритмом».

«Приду сюда только ради этого бородача! Красивый. Глаза длинные, зоркие, светлые, отсюда не разберёшь, зелёные или голубые.

Жаль, губ не видно, но седая борода ему идёт. С бородой ему под шестьдесят. Интересно, сколько ему без бороды? И как его зовут?»

– ...Большов Евгений Сергеевич, – объявил выступавший. – В настоящее время я заканчиваю роман. Он должен выйти отдельной книгой в тысячу страниц... Как руководитель литературной студии приглашаю всех после собрания на показательные занятия.

Других бородачей не слушала. Ждала вожделенных занятий. Смотрела по сторонам. В углу у кафедры притулилось зачехлённое пианино. На нём стояла стеклянная ваза с розами цвета малиновой, но сильно выцветшей тряпки, которой вытерли воду со стола.

На занятиях Большов поручил написать по заданиям три коротких отрывка. Потом вызывал желающих. Несколько человек прочли гадость. Поощрял, открыто кривя душой.

Неожиданно для себя поднялась. Зачитала один из своих. Такие хотелось писать давным-давно, когда безуспешно пыталась пристроить к делу умение видеть и называть. Большов слушал внимательно. Светлые глаза то отбежали тревожно, то принуждённо возвращались. Покивал. Не хвалил.

В конце предложил слушателям сдать листочки.

– Не забудьте подписать. Я обязательно просмотрю их дома, – пообещал сердечно.

«Хочет купить нас заботливостью. Нет, нарочно придумал, надеясь завладеть именно моим! Но как можно расстаться со своим детищем за одно только лживое обе-

щание внимания? Отдала бы я ему Юрка? Или Женюку? Я и Песню не отдала бы ему, и даже вредную Стрекозу. Не хвалил меня, как прочих. Этого достаточно».

Отмахиваясь от листочков, шелестящих в сторону кафедры, пробралась к выходу.

Тяжёлая дверь грохала размеренно, с чувством. На ступенях гранитной лестницы толпились, курили, прячась в тени козырька. Сверкающее облако, будто квашня в кастрюле, пухло над крышей дома напротив.

Сделала шаг вперёд, солнце схватило горячими пальцами, ослепило, потащило прочь. Потащило на четыре года назад.

Почти четыре года назад, в июне, приехав на дачу кандидатом технических наук, в августе вернулась в город кем-то другим. Название этому было, но примерять его на себя казалось нескромным. Сорок девять стихов за два с половиной месяца. Сначала невинная шутка, потом азарт, потом потребность. Думать уже не могла иначе, как в канве ритма. Строки возникали сами собой, изумляя строгой связностью. Чудо стало нормой.

В ту же осень лучшее было перепечатано набело. Получилось тридцать стихов. Преодолев стыдливые сомнения и стихийный страх, уложив листы и оплаченный счёт в большой конверт, отослала его в рецензионную литературную службу, о которой прочла в газете. Стихи оказались заживо похороненными. Нет, хотелось видеть их завёрнутыми в белые пелёны, из которых они непременно выйдут воскресшими.

Кто-то чужой и обязательно

злой должен был вскрыть через три дня конверт и извлечь на свет безропотные стихи. Отныне всё сводилось к ожиданию ответа «до востребования». Немыслимо было дать свой адрес, нельзя было допустить, чтобы ответ пришёл домой и обнаружил невообразимо глупую тайну супруги и матери. Ходила на почту по два раза в неделю, ничего не было. Перестала ходить. А когда пришла снова, ей протянули письмо. Упала на металлический стул у засыпанного испорченными бланками стола и вскрыла конверт.

«Рецензия – заключение на сборник стихов.

Возможно, более строгий критик найдёт здесь немало недостатков. Например, камерность и «женскость»... – сморщилась – ...представленных стихов, замкнутость на сугубо личных мотивах. Да, тут налицо и камерность, и «тихость», но есть и резко выраженная индивидуальность – скульптурная живописность, музыкальность...»

«Чушь!» – думала радостно.

«...лиризм, окутанный светлой дымкой грусти, и теплота, соединённая с искренностью и бесхитростностью. Словом, для меня сомнений нет, – это поэзия подлинная и «разбирать» её совсем не хочется. Сборник небольшой по объёму, какой-то, я бы сказал, несолидный...»

Грустно кивала головой: «Откуда же ему быть солидным? За три-то месяца».

«...однако перед нами законченная книга отличных стихов, которая, безусловно, достойна печати. Изысканность деталей видна в таких стихах, как «На стеклянной террасе» и «Небо проливает аква-

рель». Мягким юмором пронизано стихотворение «Сергей Николаич», великолепные по лиричности – «Слабым пальцем свечи...» и «Не прохлада цветов...», отличающиеся тончайшей нюансировкой чувства любви...»

Усмехнулась: «Лентяй, прочёл только первые несколько!»

«...Сборник един по стилю, с какой-то собственной, не повторяющей других интонацией. Практически можно цитировать каждое стихотворение. Я прочитал их так, словно вдохнул свежего воздуха. Оставаясь консерватором, по-прежнему отдаю предпочтение поэзии простой и человеческой. А.Туркин».

К рецензии была приложена записка от руки.

– Закрываемся, – уборщица шуровала шваброй под столом, толкая стулья, они со скрежетом ёрзали по кафельному полу.

Поднялась, запахла пальто, натянула на лоб съехавший платок. Не пряча записку в конверт, сгребла всё и вышла на обледенелое крыльцо. Ловя листом слабый луч лампочки над высокой дверью, прочла:

«Уважаемая Оксана!

К сожалению, Вы не указали вашу фамилию и отчество, поэтому приходится обращаться так. Получена рецензия на Ваши стихи. Предполагаю, что можно было бы продлить наше сотрудничество, если в этом есть необходимость для Вас. Пишите, звоните. С уважением, зав. Литературной редакцией Аланова Т.В.»

Аккуратно и неторопливо убрала послания в конверт, положила в сумку между страницами блокнота.

Подняла и расправила воротник пальто, надела перчатки, переключая сумку из руки в руку. Величественно сошла со ступеней. Остановилась, раскрыла сумку, достала письмо, убрала во внутренний карман пальто. И стремглав кинулась к троллейбусной остановке. Мыслей не было. Ни одно слово не выбралось из хаоса потрясения.

В течение месяца непрерывно перечитывала отзыв, каждый раз испытывая сильное волнение. Но однажды убрала конверт и больше не доставала. Догадывалась, что отзыв и предложение напечатать – великая удача, невиданный успех. Но ни с кем не поделилась радостью. Детям безразлично. Родители не поверят. Юра не поймёт. Скрытно пережила восторг, и всё осталось по-прежнему. Но главное состоялось, опытными и злыми судьбами стихи были признаны.

Звонить по указанному телефону было страшно, давать свой адрес невозможно. Написала вежливый ответ на записку, но больше ничего не пришло. Только летом решила позвонить. Действительно, нашлась такая Аланова, она вспомнила Оксану, похвалила, посетовала, что связь односторонняя, и сообщила о закрытии редакции.

Изучала объявления о поэтических событиях. С недоумением читала подборки стихов в газетах. Ничего не нравилось. Тайно, снова «до востребования» отослала стихи на конкурс. Получила приглашение на заключительный тур. Но требовалось читать со сцены. Не пошла.

Уже много было стихов, однако страшная мысль о дьявольском наваждении, о возможности утратить способность писать, сохранялась. И

не было объяснения запредельному, внезапно выпавшему счастью. Жила с ежедневным праздничным удивлением.

Признавала своё дилетантство, ведь никакого литературного образования. Пыталась сформулировать технические приёмы, которые проявлялись спонтанно, как симпатии и антипатии. А не знала, что такое метафора, не могла распознать ямб. И отчего-то не хотела знать.

«Несомненно, в моих стихах есть метафора, а некоторые из них написаны ямбом. Не важно. Я делаю сам стих, нечто более существенное, чем определение его составляющих».

– Опять Розе детские воспоминания? – настиг перед монитором Юра.

Интересовался не всерьёз. Но его тревожное внимание несло угрозу свободе писать. Ревновал жену к её работе, к старым друзьям, занятиям и увлечениям. Привыкла не посвящать его в свои дела, в отношения с другими людьми. Юра не был любопытен, но прозорливость его слепой любви точно указывала, откуда может прийти опасность.

Любила шить. Юра ненавидел швейную машинку.

Научилась смиряться и служить ему. Но со стихами не могла совладать. Они были не делом, не увлечением, а болезнью, которую не отложишь. Следовало найти приемлемое оправдание, легализовать неумёмную страсть.

– Хочу учить английский. Одно-го французского недостаточно, – предъявила мужу объявление гуманитарных курсов. – Там есть литературная студия. И студия перевода. И смогу заниматься с Юрком.

Был недоволен, но не возражал.

«Я пишу почти четыре года. Мне крайне нужен придирчивый, опытный учитель. Задыхаюсь в одиночестве», – с этой мыслью пришла на собрание. После посещения дома с башнями мысль обрела конкретность: «Выбираю учителем бородача Большова».

Пресс жары раздавил утреннюю рассеянность. Ехала к Розе. Так и объяснила утром Юре, умолчав о собрании. Ехала с покаянием без вины, но с вином и яблоками, испытывая привычное смешение радости и разлада. Роза обязательно как-то обидит, пусть и ненамеренно.

«А я буду мирной. В такой-то день».

От жары чулки с широкой резинкой ослабевали, грозили съехать. Мучаясь необходимостью следить за ними, напряжённо думала о Большове.

«Целое лето впереди. Буду бездельничать, писать стихи в ожидании осени. Всё забуду. Вот жалость. Нет, не забуду. Заметил меня. Я ему понравилась. Хочу доверяться ему! Почему так хочется доверяться тем, кому доверяться нельзя?»

2. Хранители.

Хранители могут быть какими угодно. Могут и не знать о своём назначении. Их ценность только в способности помнить. Начав писать стихи, Оксана стала прятать в них самое драгоценное. Пришло долгожданное утешение. Исчез страх невозполнимой утраты. А до того именно Роза была стихом, целой поэмой, сберегавшей общие воспоминания, точные детали, глупые мелочи.

«Зависимость от кого-либо делает его зависимым от тебя. Я дорожу зависимостью от Розы, и тем привязываю её к себе, побуждаю возвращаться к прошлому, хранящему звучание настоящего».

Юра недолюбливал взбалмошную подругу жены. Роза была напоминанием о тех временах, где Оксана жила без него, и откуда он получил в наследство устойчивое соперничество за неё. По необъяснимой причине прошлое имело право решать, кто достоин быть рядом с Оксаной, а кто нет. Глашатаем прошлого была Роза. Едва познакомившись с Юрой, она нашла его недостаточно глубоким для Оксаны, о чём не преминула во всеуслышание сообщить. Женька относилась к Розе как к причудливому капризу матери. Побаивалась.

Чёрные волосы. Длинные юбки. Роза непременно куда-то мчалась, взмахивая руками, звеня бусами. Темперамент и неистовство, приправленные сентиментальностью, завораживали восхищённых поклонников. Но Роза отвергала всех, оскорблённая непониманием. Никто не хотел видеть её тонкую натуру, сложную душу. Она жаловалась Оксане на нескладную жизнь, просила совета. Выслушав, поступала наоборот. А то могла и рассердиться. Любое недоразумение Роза мгновенно превращала в ссору. Однако и она сама, и Оксана с неизменной убеждённой говорили новым знакомым, указывая друг на друга: «Это моя лучшая подруга. Мы с ней учились в школе».

Последняя ссора случилась уже в эру стихов. Год не звонили друг другу. Наконец, Оксана написала осторожное обдуманное письмо.

Обращаться к помощи писем, когда другие возможности оказывались исчерпанными, было заведено со школы. В письме лежал стих, посвящённый Розе.

Линялый лес, таясь в глуши
 укромной,
Канвой апреля накрывает лёд.
Вороньи гнёзда, как аэродромы
Готовят новых эскадрилий взлёт.

Земля дымится первобытным паром,
Горячих недр дыхание храня.
Стволы берёз обуглены пожаром,
Который слепо буйствует в корнях.

Снег всё грязней. Небесный свод
 всё чище.

Берёзы несут солнце по рядам.
Ты непременно дом весны отыщешь,
Пройдя по их протаявшим следам.

Линялый лес... Сочетание звуков нравилось. Много совпадений, сцеплений слов звуками, не только смыслом. Нравилась аэродромы. Некоторая была натяжка в том, отчего же зимой земля не дымилась, раз в ней столько тепла? Но дальше нравилась стволы, обугленные пожаром, и берёзы, которые передают по рядам солнце, как школьники учебное пособие, пущенное по классу учителем.

С болезненной заботой относилась к своим стихам, переписанным вручную. Они становились другими, не такими, какими хранились в памяти или жили на экране монитора. Поэтому, когда после очень долгой паузы отношения с Розой восстановились, не могла не спросить про письмо. Роза развела руками: «А что было отвечать?» Оксана едва

сумела скрыть разочарование. Больше о стихе не упоминала. С тех пор всегда была начеку, поэтому ссор не случалось, но и доверия прежнего не было. Говорить с Розой стало не о чем. Всё кроме стихов было незначимым.

Говорила Роза о себе, не собираясь проявлять ответное внимание. И сегодня было также. Оксана кивала ей, глядя в тёмное окно, гасившее просторы и предлагавшее взамен кухню, в тених которой качались сосны. От сквозняка озябла. Набрала на плечи концы ажурных занавесок.

Не пели. Давно уже не пели при встречах. Непосилен стал для Розы гнёт доверия, в котором нуждалась Оксана. Скучная эта мысль внезапно увенчала день, принёсший невиданные обещания, пусть и высказанные коварным Большовым.

Надо было перестать ездить сюда, отодвинуться на дистанцию вежливого знакомства. Но Роза была хранителем. Помнила первую встречу, когда ещё не знала имени новой одноклассницы, нелюдимой, молчаливой, как-то нелепо перешедшей в их школу под конец предпоследнего учебного года. Они тогда особенно не понравились друг другу. Оксана показалась Розе заносчивой воображалой, Роза Оксане – домашней дурой.

Нет. Невозможно было расстаться. Черты прошлого могли искажаться и исчезнуть, если бы Оксана хранила его одна. Невозможно было так рисковать! Ведь только Роза помнила Вадима. Особенно после его отъезда, когда все перестали вспоминать о нём. Помнила историю их соперничества за него. Держала в памяти и то, о чём Оксана могла не знать.

Всё чаще Роза отказывалась от роли хранителя, но пока ещё оставалась им.

Вадим тоже был хранителем.

3. Треугольник.

Песня лепится голосами, как скульптура любящими пальцами. Песню может вылепить и один голос. Весело ему, сильному, одолевая гористый рельеф мелодии, оставляя позади сопутствующие слабые и неумелые голоса, которые снова присоединятся, едва он спустится с вершин мастерства. Он взлетает и парит, гордый своим одиночеством.

Роза в классе была запевалой. За её низким голосом тянулись остальные, спотыкались, истончались, но были уверены, что песня с честью доберётся до конца. В первый же вечер, едва приехали в лагерь, девочки собрались на террасе и попросили Розу спеть. Оксана, всё ещё чужая, безымянная пришла вслед за другими. Ведущий голос разворачивался по низкой траектории. Слушала, волнуясь. И вдруг вступила, прибавила свой первый к одиночному второму, ловя счастливыми глазами удивлённые глаза запевалы.

Неотрывно смотрели друг на друга, улыбались и пели. Голоса сливались и расходились, пронося новенькую над безднами знакомства и узнавания в самое сердце класса. Позади умолкших девчонок появились любопытные мальчишки. Едва допели, Роза вскочила:

– А эту знаешь? – и запела, упираясь в лицо испытующим взглядом.

Голоса сливались до неразличимости, превращались в один. Их разделение в припеве на верхний и нижний восхищало, томило жела-

нием долгожданного соединения. Все заворожённо слушали, оберегая неслышанное чудо. И заворчали сердито, когда кто-то вдруг отодвинул стул, сообщив громко:

– Ну, ладно. Спать хочу! Всем привет.

Острый взгляд Розы скользнул в темноту и вернулся непроницаемым. Единство распалось прямо в недопетой песне. Но всё же допели. И ещё спели одну, а тогда уж печально умолкли. Чёрные злые глаза прятали ответ. Все разошлись. Оксана и Роза вдвоём спустились к реке. Легли на мостки, чувствуя лопатками твёрдые пыльные доски. Разглядывали звёздное небо.

– Мог бы конца песни дожидаться ... Художник... Нарочно так ушёл, чтобы все видели. Он всё делает нарочно, – Роза села, свесив ноги над водой.

– Его зовут Вадим? – села рядом.

– У него есть девушка. Красивая блондинка, – отрезала Роза. Повернула голову к Оксане, долго испытующе всматривалась сквозь темноту. Взгляд давил, как пальцы. Плескала вода. В щелях между досками катались лаковые блики. – Но я не видела её. Он так говорит. А, может, врёт. Заносчивый позёр. И шут.

– Почему художник?

– Рисует хорошо, – и негромко запела.

Оксана вступила, бездумно погружаясь в пение. Допели и ушли с мостков.

Обеим хотелось говорить о нём, обсуждать его, но не обнаруживая истинную причину внимания. В разговорах непременно приходили к Вадиму. Парадоксально сближало недоброе известие о таинственной незнакомке. Воображение рисовало

её изысканно-прелестной, лукаво-весёлой, пронзительно-умной. Не под силу было соперничать с ней, обладая лишь обгоревшими носами и растрёпанными косами.

Смущалась, натываясь на его пронзительный взгляд, который скрывался, едва она поворачивала голову. Ещё не видно было, кто идёт по дороге, пыля, распуская над полем рыжую завесу, а прицельный удар зрачков уже трепал её пёстрое платье на ступенях корпуса. Заставлял волноваться.

Вечер косо ронял со склона длинные истончённые тени от усохших юными берёз. Тени линовали склон частыми синими полосами. Как весной, когда ещё нет листьев, а солнце уже слепит и не уходит с неба. Гладила рукой перила, задержавшись на крыльце. Смотрела на приближающихся мальчишек.

Вадим был самым заметным. Непререкаемый лидер. Независимый и насмешливый. Поджарый и сильный. Высокий. С прямыми плечами. Но с маленьким женским ртом и маленькими ушами, прижатыми к чёрной от загара, бритой голове.

Схватил худосочного Федю и повалил под общий смех. Хохотал, размахивал руками, выкрикивал реплики, будто со сцены. Увидела блики вечернего солнца у него на лбу и в стёклах очков. Резкие движения, нарочито громкий голос. Изумилась догадке: он смущался! Отчего-то смущался. Или казалось?

Всё время что-то казалось, и ничего не было отчётливым. Не верилось в категоричное нежелание замечать её, мерещилось как раз особенное внимание, которое он старался скрыть. Была в несогласии сама с собой, не решаясь доверять

догадке о его чувствах к ней. В город вернулась в смятении. Впереди было долгое лето разлуки с обоими дорогими.

Звонила, звонила Розе. Никто не брал трубку. Будто никогда не было ни Розы, ни Вадима.

«Как персонажи моих фантазий. Я думала, фантазии кончились вместе с детством, а они продолжают. Или продолжается детство с его наивными идеалами и надеждами? Но теперь фантазии объёмные, убедительные. Они и есть моя жизнь. А неведомая блондинка Вадима вне фантазий. Она до ужаса настоящая. Я боюсь её и проигрываю ей».

Прислонялась плечом к косяку, слушала гудки в трубке. Они стрелами улетали в пустоту, ничего не находя, и там неприкаянно гонялись друг за другом.

Роза позвонила сама. Бурно рассердилась за неправильно записанный номер.

– Еду! Еду! Не встречай. А то снова потеряемся.

Оксана высматривала её, стоя у своего дома. Площадь держала толщу спрессованного горячего воздуха. Сквозь его разломы пронёсился знобящий ветер сентября. Усталая листва парка тянулась к метро сплошным массивом. Оттуда большими шагами шла Роза! Смеялась и махала цветами, подняв руку над головой!

Последний школьный год прогуливали, восхищённые дружбой. Вадим неизменно был рядом. Независимый, гордо отстранённый. Врывался в девчачий дуэт, пугая догадками, внезапными надеждами, и вдруг бросал посреди дождливого вечернего города, исчезая в переулках, убегая, словно дезертир с поля боя.

Иногда вдруг звонил Оксане в выходной. Встречались. Ходили вдвоём взад-вперёд по заснеженному бульвару. Он болтал незначущую чепуху, она угрюмо слушала и удивлялась своему терпению. Все встречи были бездарными. Свиданиями их можно было назвать с большой натяжкой. О любви не говорили.

Зима распускала слякотные слюни. Дул сырой ветер. Возбуждённая Роза налетела, увлекая Оксану за собой по школьному коридору:

– Пойдём, что покажу!

– Куда?

– Одевайся, одевайся, а то математичка заметит и загонит на урок.

В троллейбусе мёрзли. Роза от малчивалась. Вышли на конечной у выставочного зала. Оксана удивилась, они шли на выставку. Там отогрелись под яркими лампами среди летних картин с толстыми облаками и колосьями. Но Роза не дала смотреть. Вела за собой, крепко держала за руку. Вдруг остановилась, вытолкнула Оксану вперёд.

– Вот, какую девушку он любит. И не важно, что картину нарисовал не он, – в голосе звучала интонация врача, причиняющего обязательную боль, без которой невозможно излечение.

Девушка с озорными серыми глазами, с взметнувшимися русыми волосами держалась руками за спинку стула, опираясь на него коленом. Белое платье в мелкую чёрную клетку всколыхнулось веерными складками. Мгновение назад девушка подскочила к стулу, в следующее мгновение убежит. Или чинно сядет и положит руки на колени. Она могла поступить, как угодно. Потому что была любимой. Что бы она ни сделала, тот, кто смотрел на неё из глубины комнаты, был очарован.

Затуманенные грустью, удручённые очевидным первенством портрета, вернулись в школу и отсидели два оставшиеся урока, ни на кого не глядя. Вадим ушёл, не прощаясь, зло хлопнув дверью. Оксана разглядывала свою плебейскую руку, которая выводила в тетради домашнее задание, и думала, какое сомнительное достоинство – не иметь явных недостатков.

Внешне она ничем не выделялась. Невысокого роста, не толстая, но и не худая. Глаза карие, небольшие. Лицо круглое, без романтической утончённости. Обычная шатенка. Единственная отличительная черта – вьющиеся волосы, заплетённые в пушистую недлинную косу. Совершенно недостаточно, чтобы быть уверенной в любви Вадима. Поэтому не смела рассказать ему о своей.

А любовь – то уникальное чувство, о котором обязательно надо рассказать. Иначе невозможно поверить в счастье. И страшно ошибиться.

4. Букет лютиков.

– Флоксы – кладбищенские цветы, – как-то безапелляционно заявила Роза, и Оксане понадобилось много лет, чтобы изжить неприязнь к хорошим цветам.

И в отношении к лютикам из бессловесного детства тянулось недоверие, подозрение в коварстве. А на вид лупоглазые. И название смешное. И месяц май. Всем классом на два дня сбежали от надвигающихся экзаменов за город. Влюблены были даже те, кто не был влюблён. Безмолвно. Безответно. Тяжёлая, растворяющаяся потерянная скопилась к вечеру, прорываясь внезапными короткими ссорами, невиди-

мыми слезами, чрезмерно громким смехом.

Потерянность рассеивалась только у костра. У него и просидели ночь, боясь разойтись, упустить что-то очень важное. Были напряжённо чутки к звукам своих голосов в темноте. Пламя хватало лица, выдвигая их вперёд, и голоса тогда звучали ярче. Но едва падала тень, отрезая случайные куски видимого, голоса глохли, до странности изменяясь. Поглощённые тенью, выпадали целые фрагменты разговора, который вспыхивал и гас, как костёр, выбрасывая беспорядочные искры:

– ...потому что я был черноволосяй...

– ...дедушка не вернулся...

– ...а хотели Валентиной...

– Кого... Валентиной?

– Меня... – подтвердила в темноте Оксана.

– Кого тебя? Не вижу, – спрашивал кто-то неузнаваемым голосом.

– Меня, Оксану...

– А вот меня...

– погоди, пусть она расскажет, – оборвал тот, скрытый темнотой.

– Мама хотела Валентину, а папа Оксану... И назвали, – говорила во тьму, не веря, что объяснение достигнет вопрошающего, не зная, с кем говорит.

Утро проступило болезненной серостью, обнаружило у тлеющего костра только Оксану и Розу, и выстрелило восходом. Из палаток вылезали продрогшие, тянули руки к углям, но солнце уже было жарче. Лес светился изнутри глянецом новых трав и цветов.

Собрались и ушли. Иногда переключались, боясь отстать и потеряться. Небо брело следом среди дымящихся зелёных берёзовых ма-

кушек. Все цветы оказывались лютиками. Оксана рвала их, зная, что оставит где-то, куда предстоит дойти, откуда потом надо будет уйти дальше.

– Вот ещё, возьми.

Вздрыгнула, быстро взглянула снизу вверх. Вадим протягивал лютики.

Приложила их к букету и пошла вперёд, непрестанно наклоняясь, в беспамятстве изумления срывая цветы. Он шёл рядом. Букет рос. Лес гудел предостерегающим ветром, поднимая траву, задувая вдоль прозрачных коричневых луж, раскачивая кроны. Шумело в ушах. На краю поляны лютики кончились.

– Шнурки завяжу, – сел на мшистые кочки под берёзами и принялся подтягивать длинную шнуровку, продёргивая через дырочки кручёный конец.

Ждала. Боялась, что они вдвоём. Что они с букетом лютиков.

– Садись, чего стоишь, – сказал ей, морща лоб взглядом снизу.

Послушно села на мох, положив лютики между собой и Вадимом. Смотрела на его руки с не отмытыми пятнами масляной краски. Справился со шнурками. Опёрся спиной о берёзу и, скребя затылком по молочно белому стволу, глядел в небо сквозь мелкие листья вершин. Синевы больше не было, одна белизна. Поправил очки на переносице и спросил, сверля Оксану зрачками:

– Отчего берёзы белые?

Растерялась. Посмотрела вверх, сказала, подбирая слова:

– По ним, наверное, стекает на землю небо... – и осталась недовольна ответом.

Слушали шум ветра. Сидели очень близко друг к другу. Только лютики разделяли их.

«Зачем я положила букет между нами?!»

Всё замерло. Небо, деревья, трава, он и она, сидящие на кочках. Только время шло большими спокойными шагами. Уходило и уходило с собой что-то, чего с отчаянием ждала Оксана. Не дождалась. Наверное, он тоже не дождался, сказал:

– Пошли, что ли?

Поднялась, взяла неподъёмный, ненавистный букет, и они быстрым шагом, молча, ушли. Почти нагнали остальных, когда Вадим бросил небрежно:

– Хорошее имя – Валентина. Можно иногда звать тебя Валея? – дурашливо ухмылялся в ожидании ответа.

– Мне раньше не нравилась Оксана. Я жалела, что не Валентина. Можно.

Кивнул и ушёл к гадящим мальчишкам, сгребая в охапку Федю, верного и терпеливого товарища.

Последний звонок запомнился сверкающим дождём, ветками тополей с большими нежными листьями, лежащими на мокрой жести школьного крыльца. Толпились у окна второго этажа, смотрели на мир сквозь дождь и солнце, сами сверкающие и новые. И все уже врозь. Выпускной вечер не запомнился.

После школы Вадим неожиданно женился и по недостижимости стал равноценен умершему. Оксана с Розой однажды навестили его. Познакомились с женой, низенькой и толстенной. Жена была по-домашнему в халате, который раскрывал мучное белое тело, посыпанное мелкими веснушками. И шея, и плечи у неё были веснушчатые, а медные локоны вились нежными завитками.

Оксана растерялась от вида жены. Выдержав вежливый час, подруги ушли.

В воздухе стоял запах весны – запах просыхающей пыли, но раздетый, к нему не примешались ещё запахи листьев и веток, цветения и гниения. Ещё по ночам примораживало, летел снег. А днём солнце сушило холодную пыль. Оксана прислушивалась к стерильному воздуху и ничего не улавливала в нём. И в себе ничего не улавливала.

Конечно, Вадим мог отвергнуть обеих одноклассниц и выбрать эту скромную девочку. Все три были сопоставимы и взаимозаменяемы, одинаково обычны. Но, сделав окончательный выбор, он вместе с Розой и Оксаной отверг и недостижимо красивую блондинку, свою возлюбленную. Что-то было непонятно. Только нежные рыжие локоны жены были понятны.

Роза отнеслась к увиденному хладнокровно. Жену назвала пустым местом. Но в тот вечер они долго блуждали по городу. Как люди, которых породнила утрата. Возмущённо разговаривали, строили планы. Надо было срочно заселить мир после катастрофического опустошения.

Последний снег лежал на сухом выветрившемся асфальте. Спотыкались о колотые, серые, большущие куски, которые валялись сами по себе. Асфальт под ними был сухой. Казалось, и снег сухой. А следом всё казалось ненастоящим. И Вадим. И жена. Её как-то не принимала в расчёт и непререкаемой ревности в себе не находила.

На него тоже не обижалась. Слово это был другой человек, не тот, кого знала в школе. Сжилась с

весная глыба и валится тебе на голову. Принимаешь всю тяжесть удара и остаёшься жить раздавленным, безобразным, жалким. Противным и ненужным самому себе. Стыдясь пережитого унижения.

Шла на встречу, надеясь на окончательное примирение, готовая объясниться, мечтающая обрести в нём защиту и утешение после многих лет недоверия, непонимания, редких душераздирающих свиданий и бессмысленных разговоров по телефону. Вчера получила его письмо. Оно, сто раз прочитанное, но не понятое, лежало в кармане жакета.

Неприбранный с зимы город был солнечным и сухим. Вместе с пылью ветер бросал в лицо чёрную бахрому крепдешинового платка, намотанного на шею. Ехала в автобусе, потом в метро. Договорились встретиться в метро. С тревогой ощущала себя очень уж будничной. Будничность, как болезнь, овладевала ею, пока она шла по станции на встречу Вадиму.

Высокий, тяжёлый, стриженный, с короткой курчавой бородой, он уже надвигался оттуда издалека. Нарочито дёрганой походкой. Качая плечами. Подволакивая ноги... как всегда... Блестя очками. Резиново растягивая губы. Будто кокетничал... как всегда. Всё уже было, как всегда. Всё не как всегда стало невозможным. Приятельски обнял, поцеловал в лоб, дежурно клюнув сверху вниз.

Ходили по улицам, как заводные. Говорил, не умолкая, о жизни там, о людях, о коте, о новой жене, о работе, о деньгах, о квартире. Назойливая скука его речей настойчиво загоразживала неназванное главное.

Попыталась сбросить давление

пустых слов и попробовать заново, отошла, будто бы позвонить. Ждал на другой стороне переуллка. Курил, лицо было озабоченное. Но заметил, что она возвращается, и просил, как клоун на арене.

Сидели на сквере у пруда, отбывая обязательное. Апрельское солнце щекотало, но было не до смеха. Воробей, наклоня набок головку, взглядывал круглыми глазками.

«Когда, когда же? – думала бессмысленно. – Ни. Ко. Гда».

Вскочили, опять кружили по городу, не зная, как остановиться. Вышли на набережную, спустились к воде и оказались в ловушке гранитной площадки.

Вадим сказал твёрдо:

– Пора расходиться. Дел много, – и вздохнул.

Не поверила вздоху. А быстрому косому взгляду поверила. Волны сильно плескали о гранит, проплывал речной трамвайчик.

– Покатай на трамвайчике? – посмотрела испытующе.

– Сегодня не могу, – наколол её на иглы зрачков.

– Покатай в любой день до твоего отъезда.

– Не обещаю, – продолжал смотреть, не мигая. Отвернулся к освещённым солнцем домам на противоположном берегу. Скучал и ждал.

Вдруг решилаь:

– Мне нужно знать всё определённо. Сейчас.

– Зачем эта определённость, что она даст? Я не знаю. Ничего не обещаю.

– Мне нужно знать, как поступить... – провожала взглядом трамвайчик.

Дети на палубе помахали руками. Помахала в ответ. Вадим держал

руки в карманах. Сказал:

– Тебе определённости нужна, чтобы построить сегодняшние планы, решить настоящее.

– Это настоящее не решит.

– Тебе это нужно, значит, в настоящем, чтобы определить свою будущую жизнь.

Да. Её будущая жизнь зависела от него. А его не зависела. С отчётливостью проступил ужасный смысл письма, лежащего в сумке. Если бы поняла его вчера, то не пришла бы сегодня. Не вынуждала бы Вадима унижать её отповедью. Нет, она поняла письмо! Но не захотела поверить.

Письмо шло больше месяца. Всё это время Вадим укреплялся в своём решении. Давно освоился, обжился в новых обстоятельствах. Он явился на встречу с одной целью – подтвердить окончательность своего шага. И теперь старался внушить, что шаг вынужденный, не отвечает его желанию. Заговорил миролюбиво:

– Зачем тебе непременно надо объяснений? Зачем принимать какие-то решения, когда можно просто разговаривать, встречаться, не мучая друг друга. Мне надо идти. Мы ещё можем встретиться. До моего отъезда.

Тихий разговор на солнышке. С улыбками, шутками, смешками.

– Нет, – спокойно ответила, стремительно догоняя истину. – Мы теперь не скоро встретимся.

– Почему?

– Я так думаю... не скоро.

Не стал допытываться. Но и не стал скрывать, что недоволен её словами.

– Пошли? – явно томился.

Первая поднялась по ступеням на набережную. В жакете запарив-

лась, но не снимала. Показалось, платье нехорошо. Прижимала ладонью к груди концы платка, но когда ветер ослабевал, отпускала и разбирала пальцами спутанную бахрому. Вадим молчал, разглядывал проезжающие машины, реку, дома за рекой. Искося мельком взглядывал на Оксану. Свернули к метро. И заговорила отрывисто, будто перед смертью, глядя на вход, до которого надо было успеть сказать:

– Мы так нелепо встретились! Так бестолково. Давит груз времён, когда мы были детьми. Играли в детские игры. Мы продолжаем играть в прятки, в жмурки. Нам нелегко спрятаться. Мы слишком большие и заметные. И для других, и друг для друга. Нельзя считаться со старыми правилами. Нужны новые.

Придержал дверь метро:

– Какое отношение имеют школьные времена к настоящему? Мы определились. Нам следует беречь людей, которые стоят за тобой и за мной. наших близких. Я не вижу выхода, – облокотился на поручень эскалатора, оглядывался по сторонам, говорил неохотно. – Ну, давай не будем друг друга мучить. Я работать не могу, когда впадаю в объяснения с тобой. Напиши, я отвечу. Приеду, позвоню, встретимся. Можно же нормально, спокойно, ну что ты от меня требуешь невозможного? Я не знаю, как выполнить то, что ты хочешь.

Снял очки, протирал краем свитера, глядя близорукими глазами, не защищёнными стеклом, глазами точно такими, как у Оксаны, зеленоватыми с рыжиной и чёрными разводами.

Пожала плечами. Улыбнулась. Вышло криво.

Встали на платформе. Поезд подступал к горлу. Светящиеся шары раскачивались над головой.

Надел очки, сказал весело:

– Знаешь, там ещё до моего отъезда всё цело. Крокусы на газонах. Тепло. Чисто. Только сыро.

В вагоне не разговаривали. Поезд шумел. Было тесно, душно. Отступила к дверям. Выходила первой. Коснулась двумя пальцами его груди, вложила в неё пожелание:

– До свидания. Пусть всё у тебя будет хорошо.

И ушла, не оглядываясь.

«Боже мой, Вадим, если я тебе не нужна, то какой ты тогда художник?!»

Встреча вспоминалась мгновенно целиком и погружала в тяжёлое чувство. Не обиды, не потери. Это был стыд за ту наивную веру в свою власть над ним, с какой пришла на встречу. Всё видел, всё знал, испытывал превосходство, снисходительную жалость, которые проскальзывали в словах, в поступках.

Она была достойна жалости. Через силу улыбалась улыбкой незаслуженной обиды или неумеренной похвалы – в любом случае неодолимой, глуповатой, бороться с которой невозможно. И дурацкое платье...

В других воспоминаниях Вадим был другим. С теми приходила грусть. С этим последним только стыд.

«Я всё помню. Не могу забыть. Лишь уложив воспоминание в стих, способна освободиться. Время, когда я не могла писать, было кошмаром. Особенно те три года, когда Вадим ушёл, а стихи ещё не пришли. Теперь всё миновало. Горечь, отчаяние. Платье то несчастное. А стыд

унижения остался. Стыд не преобразуется в стихи. Его можно исчерпать только фактом личного преодоления. Нужно простить Вадима. Найти оправдание его поступку. Понять его. Сегодня я надёжно защищена стихами. У меня достанет сил прочесть старые письма».

6. Старые письма.

Одни люди всё выбрасывают, другие хранят. И те, и другие неслосны. Но вторые милее. В их стремлении беречь и помнить заложена готовность терпеть то грустное, что неизбежно вплетено в жизнь. Те же, которые выбрасывают, не боятся выбросить с памятью о печалях и память о радостях. Роза всё выбрасывала. Оксана хранила. Старые письма подтверждали добрую волю и реальность рук, их писавших.

В среднем ящике стола, под рабочими бумагами картонная папка с белыми тесёмками. В ней хрупкий лист с пожелтевшими краями. Черновик последнего письма к Вадиму. Написано зимой, вдогонку, когда он уехал в первый раз, сначала ненадолго. А она ещё не знала. Это было за несколько месяцев до окончательного объяснения на набережной.

«Вадим. Напрасно ты уехал и не позвонил мне. Я не поняла, отпустил ты меня или это временная передышка? А мне важно знать. Я сильно от тебя завишу. Ты хоть и не самый близкий мне человек, но самый дорогой. И отношения, которые сложились между нами, невыносимые. Надо каждый раз заново с тобой знакомиться, как с чужим, и тут же прощаться навсегда. Уж

если знакомиться с таким усилием, то не для того, чтобы прощаться, а если прощаться навсегда, то не надо потом всё повторять снова. Достаточно было бы одного раза. Ты, видно, обиделся на меня, раз так уехал, но не надо обижаться, не надо проводить параллели между нелепостями нашего общения и моим отношением к тебе. Здесь нет никакой зависимости. Просто невозможно ничего наполовину. Валя».

Ответ пришёл в конце апреля. То самое письмо, которое Оксана носила с собой в день расставания. В заграничном конверте с окошком, где значился адрес получателя, лежал лист, сложенный четыре раза, исписанный с обеих сторон микроскопическими каракулями, испещрённый подчёркиваниями и тщательно вымаранными строками.

«От самого дорогого, а не близкого, привет!

Оксан, ну чего мы никак не можем понять, что произошло, происходит и будет происходить? Может, мы исходим из разных, так сказать, данностей? Я, конечно, кругом перед тобой виноват. Во-первых, в том, что не успел и не посмел объясниться на разных этапах. Но это в прошлом. Это наше. Только это и есть наше.

Попробую объяснить необъяснимое моё поведение в настоящем: я несвободен. Я стремился (после того, как понял в чём моё предназначение) остаться один и осуществить то, чего хотел мой Бог. То есть, моё дело, дело жизни. Тогда я не разделял любовь к искусству, то есть ко всем, и любовь к кому-то. Но впоследствии мне пришлось переме-

ниться, потому что Жизнь и Любовь преподнесли уроки, так сказать. Эта перемена имела следствием следующее: я понял, что если я хочу Любить, то мне нужно сделать выбор, и я его сделал в большую сторону, в сторону Искусства.

Этот выбор и означает несвободу. Я несвободен физически, то есть, зависим от Времени, которого требует работа, а она требует практически всего времени. И несвободен морально, так как несвободу разделяет со мной жена. Жизнь моя мало отлична от жизни сидящего в тюрьме, с той лишь разницей, что того туда посадили, а меня никто не сажал. Сам.

Вот почему наши редкие «свидания» и производят такое угнетающее впечатление. Вот почему мы заново знакомимся и расстаёмся «навек». Вот почему мне приходится отвешивать свои Время, Любовь и Внимание. Это тяжело и унижительно и для меня, и для того, кому отвешивается. Но ещё тяжелее видеть, что Ты не видишь моего Хозяина и не понимаешь, что я совсем не всемогущий, а полностью зависимый и не смеющий сделать ни шагу без Его на то согласия.

Вот ты просишь меня что-то решить, отпустить – не отпустить, но я не властен. Если ты просишь об этом меня, это говорит не о том, что ты зависишь от меня, а о том, что ты зависишь ещё от чего-то, у чего много названий – Душа, Любовь, Бог... – от твоего Хозяина.

Ты озадачена моим молчанием, а я озадачен той чертой, которую не могу переступить в наших отношениях. Мне кажется, мы как раз подошли к этой черте, за которой отношения приобретут необратимо-

непоправимо-трагический характер, как для нас, так и для «близких», но не «дорогих». Я боюсь, что решусь эту черту перейти. И поэтому молчу. Боюсь, что на этом всё и кончится.

Я бы непременно перед отъездом позвонил, но заболел. То есть, вплоть до отъезда не знал отъезду я или отойду.

Пишу так путано, потому что выпил с тоски. Один. Один. Навсегда (это констатация, а не сантименты).

Так. Ну что здесь делается? А здесь делается нормальная жизнь. Люди хороши, дружелюбны, симпатичны, предупредительны, откровенны. Уважают Качество. Уважают Труд. Меня. Мне приятно. Я стараюсь. Как всегда, впрочем. Удовлетворён. Правда, не вполне. Но что-то получается, в основном то, что касается моих пространственных поисков.

Учу английский. Даётся с трудом, как и всё остальное в моей жизни. Редко, но меня балуют. Водят в рестораны или приглашают домой, как какую-нибудь бабу красивую, но кормят и поят, как мужика. Ощущение приоритета среднего, меры, нормы непривычно и иногда угнетает, что говорит о внутренней моей порче – неспособности к жизни без стрессов, взрывов, разрывов, подрывов, отрывов, срывов и проч. И вот от этого спокойная тоска.

Подробности, если удастся, при встрече. Приеду в апреле. Потом, правда, опять уеду, но до лета, думаю, услышимся или, лучше, увидимся.

Вадим. 23³⁵

PS. Да. «Не самый близкий, но самый дорогой».

По-моему, всё дело в неразрешимости этой антиномии.

Утро. Я встал. Перечёл. Ну что с пьяного возьмёшь?

Хотел переписать, но раздумал, т.к. это уже второй вариант. Надо остановиться, а то варианты не кончатся. Просьба – главное не только в строках, но и между. Между даже больше главного, т.е. такого, о чём не скажешь. Так вот, просьба учесть.

В. (утренний)».

Лист, высказавшись, сам послушно свернулся вчетверо. Осталось тягучее разочарование. Слово письмо было прочитано впервые. Под влиянием стихийного переживания Оксана стремительно прониклась бабьей обидой. Мелкой, узкой, плоской, куцей, какой-то ещё, но непременно ущербной, сварливой, отметающей любые доводы. И одновременно признавала, что Вадим в письме очень прав, искренен и точен.

Несколько фиглярствует, кривляется. Но индивидуальность, характер. Кривляется ровно настолько, чтобы болтовнёй сгладить жёсткость честных слов, заведомо зная, что Оксана не поймёт. Но от души надеясь. Конечно, не поняла. Говорили на разных языках. Увидела... Нет, как раз не увидела в письме слов, которые говорили бы о решимости идти навстречу. Наоборот, было много слов о решимости идти прочь.

«Зависимость от творчества. Вот в чём причина. Как я его понимаю сегодня. Но тогда было иначе. Он – сложившийся художник, я – никто. Одиночество его было глубоко. Моё

тоже. Но его одиночество было заполнено искусством. Моё же ничем. Никто в пустоте – вот одиночество, которое выпало мне. Письмо умно, верно, но всё же он сфальшивил. В Вадиме никогда здравый смысл не преобладал над страстями. Здравый смысл брал в нём верх, только когда страсти утихали. От женщин отказываются не потому, что делают выбор в большую сторону, а потому, что охлаждаются. Искусство здесь не при чём».

Засунула письмо в конверт, вернула на место вместе со своим черновиком. Разочарование осталось. Следовало сейчас же отделить бабью мстительность от творческого согласия.

«По его словам, искусство завладело практически всем его временем, а для любви осталось времени чуть-чуть, и его пришлось делить на всех, кого надо было или хотелось любить. Смущённо извиняясь, он указал мне место в этом скорбном ряду, где я могла рассчитывать на свою пайку любви. Он даже признал, что такое отвешивание унижает его и меня, и ему тяжело это делать. А между строк я должна была увидеть непоколебимость его решения. Но дальше, увлекшись оправданиями, Вадим начинает уверять меня, что боится перешагнуть пресловутую черту, за которой наши отношения примут необратимо-трагический характер. Поэтому, стремясь сберечь любовь, он и держится от меня подальше.

В одном случае любовь ко мне ему помеха, в другом невиданная ценность. Но в обоих случаях, она приводится как оправдание вынужденной отстранённости. Оба довода убедительные, и мне достало бы

любого из них, чтобы поверить в то, что хотел мне внушить Вадим. Но приведённые один за другим, доводы исключают друг друга... Когда узнаёшь истинную цену слов, понимаешь, что слова ничего не стоят. И остаётся голая правда – он оставил меня, потому что я была ему не нужна. И был прав».

Легла на диван, забрасывая руки за голову, выпадая из настоящего, устремляя взгляд в перспективу прошлого.

«Я иду по жизни лицом назад. Пячусь. Всё высматриваю что-то в прошлом, от чего ухожу... Любовь губит или возносит. Для человека она может оказаться и созидательной, и разрушительной. Но в отношении искусства созидательна всегда. Это моё глубокое убеждение. Стихи пишутся и в восторге, и в терзаниях. Я легко пускаю время в направлении, которого требует заколотившийся пульс. Но если ничего не чувствую, я мертва. Ни одной ритмизованной строки. Тотальная серая скука. Ад. Мне не нужно ни денег, ни славы. Деньги придут посмертно. Слава придёт посмертно. А любовь возможна лишь при жизни. Как и искусство».

Вскинула брови. Вадим неожиданно обернулся пророком, безошибочно угадавшим в заурядной однокласснице скрытый талант. Не этим ли объяснялась старая загадка, почему из всех девчонок он выбрал именно Оксану, главным достоинством которой было лишь отсутствие недостатков? Нет, нельзя было обвинять Вадима. Он долго ждал, а она так и не оправдала его ожиданий. Он ушёл, когда её заурядность окончательно его убедила. И её тоже.

Теперь стихи сильно приблизили Вадима, но они же сделали его нежеланным. Его появление в сегодняшней жизни не могло не поколебать стабильность неудобной, дискомфортной, повседневно-однообразной среды, где рождались стихи. Оксана содрогнулась от ужаса, представив себя перед выбором между Вадимом и стихами. Зажмурилась, поняв сразу всё. Сразу всё простив.

«Меня не надо убивать, не надо ничего отнимать, чтобы я утратила желание жить. Просто не давать писать, и я быстро, удивительно быстро умру или сойду с ума. Я всем пожертвую ради возможности писать, даже любовью, если она создаст угрозу разрушений. Вадим при мысли обо мне испытывает такой же запредельный страх. Никто не защитит наш творческий покой лучше нас самих. В особенности, когда мы защищаем его друг от друга. Чем больше мы сближаемся, тем яростнее сила сопротивления. Но чем больше расходимся, тем неотступнее тоска».

Простота вывода приоткрыла безжизненный ландшафт любви, по которому гигантской синусоидой взлётов и падений уходила в мутный туман дорога призвания. Оксана села на диване. Чтение старых писем закончилось тем же, чем и всегда, печалью. Захотелось немедленно отделаться от неё. Внутреннее согласие с Вадимом было достигнуто, теперь можно было дать волю бабьей мстительности.

«Но в ту нашу встречу он сбрасывал балласт. Я была вдвойне нежеланна. Как разонравившаяся женщина и как человек, не оправдавший высокого доверия. Инфан-

тильная дура в детском платье. Хотя давно замужем и мать дочери-первоклассницы. Нравоучения, которыми он отрезвлял меня, напоминающая о необходимости усмирять страсти, звучали дидактически справедливо. Что тут скажешь. Стыдно. Унизительно. Есть тайные незащищённые места души, куда тот, кто унижает, попадает случайно. Он не понимает, как. Ты не знаешь, что в себе нужно было защищать. Но простить невозможно и забыть тоже. Унижение – переживание стихийное. Но стихами не изживается».

Встала, хмурилась, расхаживая от дивана к стене. Пнула ногой приоткрытую дверцу стола. Она глухо ударила по выдвинутому среднему ящику с письмами, загоняя его вглубь. Подошла к окну, выглянула и вдруг оттаяла, обнаружив на дне двора ярко-чёрные заплатки нового асфальта, квадратные и прямоугольные. Дети уже разрисовали их цветным мелом. Вдруг сильно, до сердцебиения разволновалась.

«Некрасивые, не героические, интерьерные переживания не годны для стихов. Обману их. Превращу унижение в исповедь. Изживу стыд прозой. Большов, учитель, я напишу роман!»

7. У пруда.

«Люблю зелёные заборы, ольху, клубнику, запах опят, запах сена, сирень, жасмин. Люблю одиночество».

На даче почти ничего не писалось, только думалось.

«Люблю делать красиво. Даже не делать, а совершать. Люблю сажать деревья, строить, созидать нечто многолетнее, если не вечное. Забивать гвозди, рыть, рубить, таскать

тяжести с угрозой для здоровья. Дикое прирастает. Что-то яростное прорывается из глубин генетического кода и резонирует в незащитной женщине».

Грязь пятнала лицо и руки смачными плевками застарелого болота. Лопата утыкалась в туго сплетённые корни болотной травы, как в мокрые тряпки, и бессильно вязла. Спина ныла.

Решила копать до дождя. Яма наполнится водой, и начнётся отдых. Но дождя всё не было. Юрок и Женька приводили приятелей показывать будущий пруд. Юра приезжал и первым делом шёл смотреть на раскоп. Верная Песня бегала за ним по кругу, с опаской заглядывая в котлован, пятясь от обрывистого края, роняя на дно подсохшие комья земли.

Юра наливал себе чаю, садился в тени ветлы, неодобрительно наблюдал, как жена копает. Пророчил:

– Первая же вода размочит берега.

– Люблю задумывать и осуществлять.

Песня лежала у его ног, высунув длинный лиловый язык, свесив на морду замшевые уши, попеременно приподнимала брови, следя за репликами.

В неровностях дна скапливалась ледяная вода, не просыхавшая и в жару. Шла одна серая глина, пропитанная белыми волокнистыми сосудами живучих водорослей. Юра пил чай. Оксана мерно шлёпала на откосы глиняные срезы, повторявшие очертания лопаты. Юра уезжал в город, оставляя Песню.

Ветреные, с обещанием жары одинаковые утра. Умывшись из

умывального на облезлом заборе, не вытираясь, брала лопату и шла к пруду. Прикосновение тёплого ветра к мокрому лицу было ощущением из школьного лета. Обитала в прошлом так же естественно, как и в настоящем, но уходила туда только за Вадимом. А теперь не пошла.

Пребывала в настоящем, заворожённая будущим. Длинные, зелёно-голубые размытые глаза Большова тревожили уклончивостью.

Углубляя яму на штык, начала новый слой и вынесла на солнце лазурно голубой пласт. Бросила на откос, прикоснулась пальцем. Но не успела задумать, что можно было бы вылепить из такой глины, как кусок начал зеленеть, желтеть и превратился в коричнево-рыжий. Утратил небесное звучание, обрёл земное. Улыбнулась и продолжала шлёпать на обжиг восхитительные пироги.

Устала. Остановилась отдышаться, опершись на лопату. Стёрла рукой пот со лба и вяло отметила, что рука в глине. Теперь грязь размазана по лицу. Прислонила лопату к откосу и выбралась из раскопа под склонённую ветлу, где валялась нагретая бутылка воды. Откинулась на спину, разглядывая матово шелестящие ветви, проволочных стрекоз, возмечтавших об обещанной воде.

«Видел бы меня царственный Большов. Вот бы удивился, найдя потенциальную слушательницу студии за грубым мужицким занятием. Грязную и лохматую. Одиравшую. Он-то сейчас на какой-нибудь старой даче. У него наверняка есть дача с кабинетом на втором этаже. Дощатые стены, белые за-

навески, широкий пустой стол. На столе стопкой толстый роман. Устав от романа, Большой спускается вниз и ухаживает за астрами, сидя среди грядок на крепкой скамеечке. А я в то же самое время, устав от стихов, рою котлован».

Скрытый непонятный механизм рождал стихи. Они долбили голову до тех пор, пока натруженная рука не заносила их в мятый блокнот.

Стих существовал задолго до того, как Оксана угадывала его приближение. Иначе бы не складывался так легко, так непринуждённо просто. В тот момент, когда являлась первая строка, он уже был. В виде разрозненных мыслей, наблюдений, поначалу ничем не объединённых. Так, случайностей... Но едва выплывала ритмизованная строка, случайности притягивались к ней, как к магниту, поражая связностью и уместностью.

Стихи были случайными, сырыми и оттого свежими. Записывала их и забывала. Копать было интереснее. Копала самозабвенно, невзирая на неловкость перед соседями, бросавшими любопытные взгляды сквозь забор, подбитый сочной крапивой и лопухом.

«Случайности совпадают, и происходит чудо. Но маленькое-маленькое. Малюсенькое. Нет! Чудо не бывает ни большим, ни маленьким. У чуда нет размера, ведь оно нерукотворно. Мой будущий пруд имеет размер, значит, он не чудо. Зато отсутствие дождя до его окончания будет чудом».

– Бог! Слышишь? Придержи дожди! – громким шёпотом обратилась сквозь ветлу к небесам цвета глины в раскопе.

Огород умер и перестал нуждаться в уходе. В стойкости небеса таился благосклонный ответ на мольбы копальщицы. Смешило, что мольбы отчаявшихся огородников никто не слышит. В упрямом постоянстве небеса читался живой азарт и тонкий юмор незримой рати, изнывающей от безделья и стремящейся узнать, как продвинется работа, пока Бог держит воду за щеками? Копала с удвоенным усердием. Рать сидела над головой на калёном небе, болтая босыми нежными ногами.

Вечером над полем висела синяя птица с длинной шеей и острым клювом, с длинным синим хвостом, роняющим оранжевые перья. Узкое тело вытянулось вдоль горизонта, а вверх, в небосвод, заслоняя его, выносилось мощное крыло дробного синего оперения, разворачиваясь громадным веером.

«Синяя птица и жар-птица. Одно и то же? Свет и тень. Огонь. Синева углей».

Высокие травы качали вершинами, рассказывая, где челноком ходит Песня.

– Песня, Песня! Где Юрок, где Женя?

Трава всколыхнулась, выбросила вверх шоколадное в крап гладкое тело с поджатыми передними лапами. Длинные уши взлетели над задранной мордой. Голова крутанулась. Раскалённый взгляд нашёл цель. Песня провалилась в шелестящие волны, длинным нырком уходя за цветными фигурками впереди.

Синяя птица роняла оранжевые перья. Одно застряло в берёзе, поджигая прядь напоминанием об осени, о Большове, который должен был наступить, как время года...

...и принести шорох тетрадных листов, скрип карандашей и ручек, острые, воровские взгляды... Стреляющий молниеносными взглядами огромный неподвижный человек.

Вечером долго сидела у костра. Ушла, когда он угас. Лежала в темноте, не в силах пошевелить и пальцем от усталости. Бесшумный розовый всполох за окном ударил мгновенным страхом. Песня глухо заворчала, но не поднялась. Значит, не человек. Вдруг испугалась за свою жизнь, такую внешне скучную и обыденную. С колотящимся сердцем подняла соломенную штору, приникла к стеклу. Потухшая коряга пылала, озаряя ольхи и поляну у дома. Пламя стояло неподвижно, как замерший дух. Потом уменьшилось, но коряга хорошо занялась.

«Здорóво, Бог. Ты один со мной. Привязанности мои далеко. Вадим. Большов. Вроде бы живут где-то, а вроде бы и нет их. Придуманные привязанности. Только ты реален. Праздно любопытный, непоследовательный. Грозный и капризный. Держишь дождь, помогаешь мне докапываться до сути».

Поднялась. Нашарив тюбик от комаров, вышла на крыльцо. Задрала голову, разглядывая яркие звёзды. Комары гудели, ударяясь о лоб, о плечи, но не решались припасть.

На колких звёздах одиноко сидел покинутый ратью бессонный Бог. Мягкий хитрый мужик в неудобной крахмальной хламиде. На небе было неуютно, а мужик, судя по его лукавой красной роже, относился к любителям пожить. Стало жалко сибарита, вынужденного вечно терпеть спартанские условия неба. Звёзды колются, солнце жжёт, облака сырые.

Из лесу бархатными вспышками пёрла пылающая чернота. Оксана села на чурку у костра, ткнула палкой в корягу. Пододвинула в костёр три полена, оставшиеся с вечера. Они тут же схватились, обещая быстро сгореть.

«Скверно живётся Богу. Недаром он куражится над нами. Завидует душному уюту, простецкой сытости, непроходимой глупости и спасительному неведению. Но больше всего – способности умирать. Такой симпатичный, а заложник бессмертия. Кто милосерден, чтоб утешить Бога?.. ритмизованная строка... И пыль стереть с бессмертного лица... нет, блокнот далеко, устала, не буду записывать, и стих испарится... А человек – предатель, однажды умрёт. А наказать предателя можно, только воскресив его. То есть, наказать жизнью. Что мы в итоге и имеем».

Верхнее полено упруго отбросило в траву светящийся уголёк. Он погас, но в глазах скакал призрачный блик. Встала, прошла по тропинке к раскопкам. Котлован зиял распахнутым ртом. Дышал ледяной жутью древнего городища. Жаба удалялась по влажному глиняному дну, приклеиваясь и отклеиваясь. Оксана развернулась и побежала назад, спотыкаясь о ползущие корни. Песня грозно залаяла в доме, услышав топот, и стихла, узнав хозяйку.

Вместо костра переливалась груда драгоценностей. По малиновым остовам сквозь узкие пылающие щели скользили голубые языки, расщепляясь на концах. Два листа, а посередине утолщённый бутон. Клумба пылающих крокусов цвела среди ночи.

2 ЧАСТЬ

ПОЛЕ НА ШЕСТЬ ИГРОКОВ

Бесшумно явилась из тьмы Стрекоза, села напротив, аккуратно обвив хвостом белые лапы, уставилась на крокусы серьёзными глазами.

Оксана ушла, когда цветы увяли.

Проснулась от грохота ворон по крыше. Сквозь соломенную штору стреляло солнце. Бог уже старался вовсю. Притворилась спящей. Солнечные полосы ползли по лицу, зажигая под веками огонь.

«Вот возлюбленный неизменный и верный».

Распахнула глаза, вскочила и отправилась за лопатой.

«Вадим расставался со мной, как с человеком, который ничего не может. Его презрение было справедливым. Он запомнил меня жалкой».

Ополоснула лицо. Пошла с лопатой к котловану.

«Стихи живут в пространстве между Вадимом и Большовым. Стихи явились неслышанным образом, не предупреждая, вопреки любым представлениям о правильности... С точки зрения человека, их явление – чудо. Мне следовало сойти с ума или признать возможность чуда. Я выбрала второе. Так и назову роман: «С точки зрения человека».

Лопата уверенно вошла в небесно-голубую глину. Оксана шлёпнула на откос первый пирог и залюбовалась им, поглощённая радостными мыслями.

«Большов пообещал мне понимание и доверие. Я на пороге романа с ним. Мечты о нём опережают события, обретают отчётливость реальности. Лучше прожить роман, чем написать его».

8. В ноябрьские сумерки.

«Живу и мыслю, манипулируя вопросами и ответами. И не могу себе позволить отделаться от вопроса пустым «не знаю». Я всегда знаю. Вот, я люблю всякое время года, когда можно ходить без шапки. Спрашиваю себя «почему»? И глубокомысленно отвечаю: «Шапка мнёт волосы и делает лицо безнадежно круглым». И платки мне не идут... Мне-не и-дут ни-шап ка-ни пла-ток! Из этого неутешительного заключения можно было бы создать стих. Напишу его, когда окончательно проникнусь отчаянием глубокого ноября».

Бросила шапку на тумбочку у зеркала, тряхнула освобождёнными волосами. Песня крутилась рядом, приветственно скалясь. Погладила её. Толкнула дверь в комнату и остановилась на пороге, восхищённая сочной синевой за облупленными деревянными переплётами. Закрыла за собой дверь. Прислонилась спиной, не снимая пальто, не выпуская сумку из рук.

Вечер расставил акценты. Стены домов удалил, а тёплые окна, снежные карнизы и крыши повесил в пустоте, нацепив на лохмы лип. В развилках веток осели комья отёкшего снега. Синь вытягивала из комнаты силы, оставляя спрессованные серые выжимки.

«Вот так, не зажигая света, лечь и спать».

Коснулась выключателя. Ожила люстра – пыльный, усыпанный мелкими бабочками лета серо-розовый диск с коричневыми прожилками, будто мраморный. Из прожилок сложились два долговязые человек-

ка. Взявшись за руки, они зашагали по матовому полю.

«Осень кончается, а я всё ленюсь подвинуть табуретку и вытереть пыль».

Закашлялась, подавляя простудный зуд в горле, повесила сумку на стул. Прошла к дивану, но садиться не стала. Обернулась к окну, но не стала смотреть, прикрыла глаза, выхватывая главное.

«Синева окна и желтизна комнаты борются, решая, кому властвовать. Окно сейчас не окно. Оно плотное, как стена... Стена... И плоскость окна... на-на... на старых обоях висит. Все составляющие есть, только просят расположить их в нужном порядке!»

Схватила первый, подвернувшийся под руку, лист и случайный красный карандаш, подскочила к столу. Локтем освободила место, уплотняя мелкое хламьё – пузырьки с лекарствами, диски и дискеты, мятые записки с поручениями. Недочитанные распахнутые книги зашуршали, опасно тесня на край чашку с холодным чаем.

Уставилась в стену перед собой. Стих трепетал в воздухе крылышками, дразня неуловимостью, страстно желая быть пойманным. Его возбуждение передавалось руке.

«В ноябрьские сумерки больше усталость... Сон ходит кругами у глаз... Осталось... нас... До Нового года немного осталось... Нет, усталость не больше, а глубже! В ноябрьские сумерки глубже усталость... Осталось... У глаз... Достало бы силы у нас... нет... у глаз... Атлас! Синий атлас. Короткие дни, бесконечные... безграничные... необъятные! ночи с обрывками краткого сна. С заплатками!.. С заплатками краткого сна. И жизнь, со-

стоящая из многоточий, простужена и не верна».

Смотрела в окно рассеянным взглядом. Синева сгустилась до тьмы. Свет комнаты вышел победителем, обнажая правду жизни. За дверью прозвучали детские голоса, топот встречающей Песни, мурлыканье Стрекозы.

Все эти существа населили дом много позже Оксаны. Незадолго до них сюда пришел Юра и был усыновлён комнатой. Оставшуюся после бабушки кровать со звенящей сеткой заменил раздвижной диван, лёжа на котором Оксана привычно разглядывала расплывчатые контуры люстры детства.

– Картошка сварилась, – в комнату засунула голову Женька. – Папа звонил, будет поздно. А чего ты в пальто?

– Да... – накрыла стих ладонью, сбросила пальто на диван. – Я сейчас.

Глянула на окно. Цветные огни в темноте. Окно перестало существовать. Всмотрелась в исчёрканные строчки, видя за ними тусклый свет, синий прямоугольник на стене. Села, сжав нацеленный карандаш.

«Моя жизнь протекает у окон... И плоскость окна голубым гобеленом на старых обоях висит. Висит. Моросит. Два глагола. Гобеленом хорошо, но уже у кого-то было. Свет лампы едва моросит. Гобеленом... леном... меном... менным... Там два глагола, здесь надо изысканное. Гобеленом... Покой неизменный... А в комнате тесной покой неизменный! Или нетленный... тленный, пленный... Тогда не покой».

Заколебалась, раздваиваясь между тишиной и неустроенным уютom комнаты и тишиной и неустроенной сыростью улицы. Мокрый снег в раз-

вилках веток, валяющийся вниз. Отяжелевший, как подушка от слёз.

«Снег мастерит, нахлобучивает... есть слово, но короче, короче – в два слога... Ладит! Снег ладит убор чёрно-белых расцветок на головы улиц сырых, подушкой заплаканной виснет на ветках... Ветках. Расцветок... вет... вет... По слуху верно. ...и каплями падает с них... Сырых... с них... рых... них... Никуда не годится! Рых... Ры... Дворы... Кору... Цепляясь за тёрку коры!»

– Иду! – сердито откликнулась на повторный зов, видя близкое завершение, злясь на помехи.

Совсем немного оставалось доделать, оттачивая, наслаждаясь тонкой работой усовершенствования. Хотелось переписать, увидеть стих готовым, но сложила лист, спрятала и пошла есть.

Сидела у стола на своём обычном месте, спиной к коридору, неохотно отзываясь на детскую болтовню, очарованная стихом, который захватил врасплох, вклинился в зазор между возвращением с работы и картошкой. Стрекоза и Песня ревниво теснили друг друга у стола, надеясь на снисхождение.

«Дописать любой ценой. Укрыться хоть на час. Будто пьяница! Каждую минуту стерегу момент, когда можно всё бросить и... Пьяница всегда хочет. Как я его понимаю!»

– Спасибо. Пойду, посплю полчаса. Только не входите каждую минуту, а то привыкли. Невозможно, – отбарабанила, вставая. – Посуда за мной.

Знала, не ляжет. Лихорадочный озноб преодолим только работой. Закрывает дверь, повернула в замочной скважине ключ, погасила верхний свет. Движениями вора двинула стул к столу, опустила пониже на-

стольную лампу. Перемещалась на цыпочках, стараясь не выдать истинных намерений случайным шумом.

«Я точно знаю, чего хочу. Это обворожительно – знать, чего хочешь, и знать, что сможешь это сделать. А голова, язык, рука самоотверженно служат».

Оттягивала начало. Наслаждалась мгновениями счастливого нетерпения. Достала тонкий карандаш, блокнот для записей, смятый второпях стих. Переписывала, одновременно додумывая, переживая настроение каждой строфы, строки, слова. Перечитывала, шевеля губами, радуясь рифме, занявшей свои места. И чутко прислушивалась к враждебному движению в коридоре, чтобы вскочить, едва придёт муж. Его нельзя встречать запертой дверью.

В ноябрьские сумерки глубже
усталость.

Тень ходит кругами у глаз.
До Нового года недолго осталось
Раскраивать синий атлас.

Тревожен следов неуверенный
почерк

С тяжёлыми точками сна.
Пунктир незаметно сливается
в прочерк,
И линия жизни черна.

Снег ладит уборы невнятной
расцветки
На головы улиц сырых,
Подушкой заплаканной давит
на ветки,
Цепляясь за тёрку коры.

А в комнате, в лапах уютного плена
Свет лампы едва моросит.
И образ окна ледяной и нетленный
Висит на продольной оси.

Смутно просматривались обледенелые разводы, блеск ломаных складок и муар разливов. Всё это нескончаемо длилось в стеклянно-вязком ледяном русле, впадающем в Новый год. Он ныл под ложечкой, маячил огнями за снежными крышами. Образ окна висел на продольной оси в угоду рифме. Старые обои, с которых всё началось, были утрачены, и с ними дивный гобелен. Он превратился в нетленный образ и теперь недостаточно контрастировал с убожеством комнаты.

Не всё удалось. Но случайности совместились и стали нерасчленимым целым.

В голове бархатная пустота. Голова – пустая серая комната без окон, без света, только стены и пол. Потолка не видно, но нет ощущения высоты. Серая комната не может стать более тесной, но теперь только утром в неё вернётся вселенная. Стены распадутся в стороны, потолок вознесётся, и откроется небо.

Вытащила подушку. Бросила на диван. Легла, бездумно глядя на бравых человечков, пинающих штрихи усопших бабочек. Слушала звуки вечерней жизни во дворе и доме.

«Большов... Показать ему стих или нет? Нет. Буду скромно писать его прозаические задания. Не заслужил он ещё права узнать о моих тайнах. Заслужил только ответные взгляды, разоблачающие его интерес ко мне».

«Дать ли стиху название? Раз не родилось вместе со стихом, его уже не придумать. Пусть остаётся по первой строке. «В ноябрьские сумерки...» Хорошо. Название должно добавлять невидимое, неназван-

ное. Если названием ничего не добавить, оно излишне».

9. Юра.

– У тебя был любовник? – прямо спрашивала Роза.

– Вопрос, любой ответ на который будет не в мою пользу. Не отвечаю, – смело улыбалась, щуря блестящие глаза.

Юре была верна вдвойне. Потому что была верна Вадиму.

Разминувшись на улице с прохожим, бросившим пристрастный взгляд, думала весело: «Мужчины смотрят на меня с одобрением!» Но всегда оставалась недолимая преграда.

Только Большов в ореоле головокругительных обещаний впервые всерьёз покачнул преграду, и Оксана удивлённо спросила себя: «А если с ним сложится взаимность?» И также удивлённо ответила: «Я разлюблю Вадима!» И словно оттолкнулась ногами от края пропасти, не зная, упадёт или взлетит.

– Хорошего любовника так же трудно найти, как хорошего мужа...

– Роза заглядывала в глаза, ловя невысказанное.

– С хорошим мужем не соль вместе ешь, а землю, – признавалась искренне, зная цену тяжёлому труду в созидании благополучия, которое подруга негласно ставила ей в упрёк.

Оксане всегда было совестно, что её радость по поводу возвращения Юры скромнее собачьей. Услышав, как нетерпеливо скулит в прихожей Песня, спрятала новый стих, встала в дверях. Юра снимал ботин-

ки, отворачиваясь от Песни, норозящей лизнуть в лицо.

– С собакой, конечно, не гуляли?
– Нет... Юр...

Шёл по коридору в сопровождении Песни, следом шла Оксана и уныло врал в спину:

– Извини, я устала, спала... Там картошка... Но уже остыла. Хочешь, пожарю? Или новую сварю?

Хлопал крышками на плите.

– Всегда одно и то же! Когда бы ни пришёл, есть нечего, с собакой не гуляли, в доме кавардак, – приподнял чайник, ткнул на место. – Всегда пустой!

Отвернулся к окну, сунув руки в карманы.

Нащупывала в стекле выражение его лица. Смотрела в спину, на взлохмаченный затылок, на заметную седину в тёмных волосах. Было стыдно за постоянное враньё, за предательское увлечение стихами. Подошла вплотную, положила руки ему на плечи.

– Юра...
– Отстань!

Песня, предчувствуя близкую склоку, тихонько выбралась из-под стола и на когтях ушла. Оксана прижалась к мужу, перехватила руки крепче. Мотнул головой, освободился. Смущённо ловила его взгляд, готовая выслушать упрёки.

Вернулся в прихожую. Звякнул крючками, сдёрнув куртку. Щёлкнул карабином поводка. Дверь открылась. Закрылась. Лифт зашумел.

Поплелась на кухню. Встала у плиты.

«Непоказательна моя семейная жизнь. Согласно. Меня вправе отчитывать каждый. Тем более Юра. Непристойную страсть к стихам надо искупать. Всей жизнью иску-

пать выпавшее мне невиданное счастье. Я готова платить любой ценой. Смирением в доме, смирением на службе...»

Вбежал Юрок, припал белобрысой головой к фартуку. Стрельнул озорными глазами. Убежал. Восклицание матери не угналось за ним:

– Ой! Обожжёт!

И странно опечалилась, что в юности ей не встретился такой красивый мальчик, а если бы и встретился, то не заметил бы её. Как и Женька светловолосый, голубоглазый. Ещё младенчески узкоплечий и большеголовый, но в чертах уже расположилась мужская значительность.

Тыльной стороной руки зажала глаза, перехватывая обязательные слёзы. Не вырабатывалась привычка. Не забывалось отчаяние. Тяжело вздохнула, покачала головой. Безотчётно подняла и опустила крышку сковороды.

Рождение Юрка пропахало пропасть между до и после. До было расставание с Вадимом, окончательное примирение с Юрой, аспирантура. До было всё, включая голубые ленты и кружевное одеяло, раскинувшиеся в ожидании наследного принца. Гордая королева-мать, превозмогая боли, величественно сидела на краю койки, ожидая вызова на выписку. Это всё было до... Когда случилось после.

Реанимация вцепилась мёртвой хваткой в синий обмякший комок, уронивший кукольные конечности, поймала в густую сеть проводов и трубок и держала на этом свете, надеясь, но не обещая. Держала, держала, держала без сострадания, свирепо, налаживала, запускала,

включала и постепенно стала обещать. С каждым днём обещала всё больше. Но не разум.

В инкубаторе сменялись кормления, уколы и обходы, отстранённо обтекая остров чужого горя. Оксана беззвучно рыдала, прижимаясь горячим лицом к окну общей палаты, за которым пытался укрепиться последний снег, но не удерживаясь, таял и тёк по наружной стороне стекла.

Обыденность мира, в котором размеренно совершался кошмар, не вмещала его запредельной жестокости, не осваивалась сознанием. Оксана билась о заклеенное окно, не зная, как вырваться на волю, вдохнуть ледяного воздуха и очнуться.

– Твой сын идиот! – визжала в телефонную трубку.

Юра ответил холодно и отдельно:

– Это твой сын идиот. Мой сын нормальный.

Слова вморозили в схватившийся предсмертными судорогами грязный мартовский лёд, сделав нестигаемой, способной вынести любую тяжесть. Юра на руках бережно нёс домой сына в голубых лентах. Оксана – доброжелательное напутствие врачей с одной поправкой. Однажды заснув, Юрок может не проснуться.

Постепенно отсыхали, отпадали неутешительные прогнозы. Дни шли по ним, растапывая в пыль. Оксана исступлённо дописывала диссертацию, взвалив на себя непомерные нагрузки научного труда и ухода за бесценным младенцем. Забывала животный страх за сына придуманным страхом перед грядущей защитой. Сидела с рукописью у кровати

и сторожила каждое пробуждение. Сын просыпался. Она плакала. Юра не утешал. Его равнодушие было целебнее любых увещаний.

Защитилась с тремя чёрными шарами. Но была утверждена. Всё прошло как-то между прочим. Между главным. Сын подрастал, креп, умнел. Жизнь наполнялась благотворной будничностью. Оксана плакала. Но теперь тайно от всех.

И одновременно, знобящим предчувствием новой угрозы откуда-то выползала вязкая тоска. Она не относилась к Юрку, что было добрым знаком. Но и к Вадиму она не относилась. Проклёвывалась незаметно, проявляясь безразличием к работе, нежеланием делать всё, чему училась, к чему стремилась. И не звала делать ничего взамен. Это тревожило. Это было странно, но Оксана соглашалась со своими странностями. Немыслимо было остаться прежней после пережитого. Она должна была сойти с ума. Ну, хоть немножко. И эти неотвязные тайные слёзы...

А Юра был спокоен. Гордился сыном и по-мужски непедagogично, самозабвенно любил Женьку. На вид вылитая отличница. Аккуратенькая, улыбчивая, с выражением прилежания на овальном безбровом личике. Прямой носик, изящные губки, близко поставленные глаза невозмутимой ясности.

Все знали, что Женька непрерывно врёт, и всё равно верили. Сначала склонность к вранью проистекала из благородного желания угодить взрослым, которые ждали от милой девочки хороших поступков, теперь же стала блестяще отработанным приёмом выгадывать время для изобретения оправданий.

В итоге Женьку обступали лица, плотно задрнутые суровостью, за которой скрывались черты родных. Нарушительница слушала без видимого раскаяния. Глядя на неё, Оксана не понимала, зачем с таким постоянством они доискиваются правды, которая непременно расстроит? Зато Юра считал Женькино враньё проявлением выдающихся способностей. Однако, попадаясь на удочку, приходил в ярость.

Хлопнула дверь.

«Надо мириться. В ссорах самое большое зло – быть последовательным».

Песня прибежала к своей миске, озабоченно ища глазами, кто бы дал команду есть, посидела перед Оксаной, перебирая передними лапами, не дождалась, бросилась к хозяину.

– Что там, Песенка? Пиль, – увидел улыбающуюся Оксану, но не улыбнулся.

Зеркало прихожей отражало их вдвоём в полный рост.

Обхватила руками вокруг пояса, положила подбородок на плечо. Юра взглянул из зеркала и покачал головой. Но не оттолкнул.

В комнате равнодушной рукой задрнула окно. Вдохновение, восторг удачи стёрлись простыми реалиями, казались теперь хорошим сном, несоединимым с жизнью. Только усталость удвоилась. Переписанный стих отнял силы. Многозначный образ эфемерных синих сумерек осел в блокноте, зашифрованный штрихами и закорючками карандаша.

Пристроилась на диване рядом с лежащим Юрой, тесня его. Разглядывала его безучастное лицо, глаза, глядящие в потолок, губы, ещё хранящие в изломе недавнюю обиду.

Прильнула всем телом, сказала в ухо:

– Значение мужа особенно возрастает зимой. Холодно, а он тёплый.

– Ты нигде не упустишь выгоду, – ответил в потолок шагающим человечкам, протянул за голову руку и захлопнул дверь.

– Это не практичность, просто я умею довольствоваться малым.

Возмутился, стараясь её отпихнуть. Вцепилась в него, согласная свалиться на пол вместе с ним. Боролась, сдавленно смеясь.

– Ты сломала мою жизнь, – пробормotal, тяжело дыша и сдаваясь.

– Я целый пруд для тебя вырыла, – внушала ему в плечо. – Совсем недавно признал меня полезной. И вот забыл.

Два дня назад в последний раз ездили на дачу. Запирали. Укрывали. Было бело, сыро, кристально холодно, безветренно. Дача показалась чужой, неинтересной. Летнее увлечение прудом – нелепостью, о которой стыдно вспоминать. Увидев в сарае две зверски изуродованные лопаты в засохшей глине, с вылетевшими гвоздями и треснувшими древками, Оксана ужаснулась соизводительной ярости, которая привела лопаты в это предсмертное состояние.

– Юра! Где ты? – окликнула из сарая. – Песня!

Выглянула наружу и сквозь стволы, сквозь паутинную сетку веток в неподвижных каплях увидела у пруда Юру. Рядом Песню, опирающуюся, как на треногу на пятки и обрубок хвоста.

Подошла, поддаваясь их задумчивости, дивясь прозрачности воды, онемевшей на грани заморозков.

Деревья стояли на головах, наколов на ветки утопшие листья. Ледяная вода подступила к кромке берега. Оксана просунула руку Юре под локоть. Строго взглянул на неё:

– Летом разведу здесь карасей.

На диване пригrelась. Сомкнула веки.

«Я уже ничего не могу созидать в области чувств, только разрушать или хранить. Какой я писатель. Я не писатель, а жена, которая служит гению. Каждая жена служит гению...»

10. Философ.

«...а любовь – глубокая личная тайна. О ней не рассказывают. Как же тогда быть с признанием? Но признание не рассказ, а дверь к доверию. Ты доверяешься, и тебе доверяются. Но не ты доверяешь, и тебе доверяют. Огромная разница. Второе соотношение – основа дружбы, оно возможно без признания. А первое – основа любви и взаимности. Взаимность невозможна без признания. Вадим не спешил сказать «Я тебя люблю». Юра сказал».

Внизу, в глубине дивана молчаливым свидетелем лежал Философ. Единственная работа Вадима, которую он подарил Оксане. Камень, не переваренный желудком. Осколок снаряда, оставшийся в теле бойца. Философ вслушивался в происходящее снаружи, не прекращая тайного слежения. Сначала он висел на стене, но недолго. Юра воспротивился, и картину убрали в папку под диван.

Серо-голубой круг. В нём загорелый человек в тоге. Курчавая шевелюра, борода с проседью. Морской берег. Выброшенные волнами

извилистые корни. В руке у человека причудливая раковина. Он прислушивается к её голосу. Большая физическая сила, скованная раздумьями.

Философ напоминал Вадима. Не столько внешностью, сколько нежеланием слышать истину. Философ слушал не море, а раковину, играющую смыслами. В завитках раковины эхо представлялось истиной, а истина не принималась в расчёт ввиду простоты.

«Он непременно искал в буквальных словах двусмысленность. Да, когда речь идёт о любви, всегда есть опасность обмануться, услышать то, о чём не говорилось... Самые обычные слова могут быть по-разному поняты. Разночтений нет только в «Я тебя люблю».

Человечки на люстре были удивительно схожи с Философом. И круги одного диаметра, покрытые патиной времени. И все шли куда-то бесцельно. Но человечки шли, взявшись за руки, соединённые признанием, доверием и взаимностью. А Философ был погружён в сомнения, охвачен нерешительностью. И оттого один.

«Мы с Вадимом объяснялись всеми словами кроме «Я тебя люблю». Юра дважды выиграл в споре за меня. В первый раз, когда сказал мне «Я тебя люблю». Во второй раз, когда Вадим не сказал мне «Я тебя люблю».

Было. Опять в конце апреля. За год до окончательного разрыва с Вадимом. Идея терзала дикая и страшная. Уйти к нему. Бросив всё, всех безоглядно. Он не звал, но привязывал к себе ревностью. Не давал, а отнимал, заставляя желать отнятого. Преследование Вадима имело

такую силу, что шаг за шагом уводило Оксану за ним.

Внезапно ночью проснулась и увидела Юру, сидящим на постели.

– Что ты не спишь? – обмерла. Неужели назвала во сне имя?

Молчал.

Лежала, не шевелясь.

– Может, нам не надо вместе жить? – спросил глухо.

– Не знаю, – испугалась вопроса, испугалась ответа и заговорила торопливо. – Не могу сказать тебе, что не люблю тебя, но и что люблю, не могу сказать. Не знаю. Ты замучил меня. Мне тяжело рядом с тобой, с твоей мрачной неподвижностью, угрюмой подозрительностью. Я устала.

– Ты устала? Слишком много сил тратишь, скрывая другие отношения. С другим. Иди к нему. Что же не идёшь?

– Ты!.. – задохнулась от тоски, не способной обратиться в слова.

Ничего не было с Вадимом. Только выматывающие телефонные разговоры о посторонних вещах и настойчивое присутствие в каждом шаге, в каждой мысли. Было имя, вместившее всё, кроме неё самой.

Всхлипывала, бубнила сбивчиво:

– Ты не веришь мне, не понимаешь меня, но только тебе я могу сказать правду. Да, я устала от наших ссор, устала быть твоей вещью. У меня нет никакого будущего. Я бы ушла, ушла, но не к кому! Я действительно никому не нужна.

Упала на подушку, намотав на голову одеяло. Юра ходил по коридору. Что-то ронял. Включал свет. Потом всё стихло. Лежала бездумно. Вдруг вскочила, пошла к нему в другую комнату, растолкала:

– Я доверяю тебе. Уважаю тебя. Могу с тобой жить и не подводить

тебя своими поступками. Но я не люблю тебя.

– Иди. Спи, – сказал, не оборачиваясь.

Легла. Стала вспоминать, что было у них с Юрой хорошего. Будто прощалась. Много было хорошего. И всё так просто! Хорошо было утешать друг друга, шептаться, плакать, обещать, верить в обещания. Знать, что, какой бы он ни был, он единственный, и много пережито с ним такого, чего не пережить в одиночку.

Ныла, всхлипывала, кашляла. Заснула измученная. Снилось себе без Юры, опустошённая и растерянная. Проснулась опухшая от слёз. Комнату, где он ночевал, обходила стороной. Но всё же зашла. Юра сидел на диване.

Обхватила обеими руками, прижалась, пряча искажившееся лицо:

– Я не умею без тебя жить!

Не гнал. Рыдала от раскаяния, от благодарности за снисходительность, от жалости к себе. Собрала и отвела в сад Женьку. На работе сидела убитая, прозаическая, парадоксально не соответствующая водовороту страстей, в котором оказалась. Боялась, позвонит Вадим.

Позвонил. Он всегда угадывал.

Говорила с ним нехорошо. Сухо. Встретились на другой день в парке. Наклеили друг на друга по холодному поцелую. Сидели, обнявшись, на белой скамейке у запущенного пруда. Враждебные, безмолвные. И не могли расстаться. Прибрежную траву шевелили деловитые лягушки, крича на все голоса.

Было. Давно. А казалось, недавно. Всё сокровенное выпадало из реальности в заповедный мир, где пребывало протяжённое настоя-

щее. Вадим. Мысли о нём. Отчётливые образы. Стихи.

Написанный в ноябрьские сумерки стих был современником давней разлуки, хотя вечер его рождения ещё длился.

Ровным дыханием Юра поднимал и опускал голову Оксаны. Голова думала, что спящий знать не знает, какое жадное, эгоистичное чудовище пригрел на груди. Переполненное противоречиями, раздражаемое желанием, которые умиряются и остывают только в стихах, о которых никто не знает. И спящий не знает.

Юре стихи посвящала, но не осмеливалась прочесть. Только однажды. Читать было тяжело. От волнения, от неловкости. Испытывала размягчённость, останавливалась выровнять голос.

Выслушал. Похвалил. Но больше о стихе не вспоминал.

Переезд

Из дома с тёмным потолком,
С окном в сплетенье веток снежных
Лишь потому ушли легко,
Что это было неизбежно,
Не оглянувшись. Всё равно.
И всё другое. Стены. Двери.
Шум улиц помится в окно,
Томя сознанием потери.
Но сердце вслушаться спешит,
Необратимость принимая,
Снегоуборочных машин
Возне как музыке внимая.
Сон входит в комнаты босой,
Шепча забытый стих Катутлла.
И лифчик бледной полосой
Свисает с гнутой спинки стула.

«Нет покоя с ревнивым мужем в запущенном доме. Но моему искусству здесь комфортно, и его фунда-

мент – тот же муж, тот же дом. Я горжусь моими прекрасными мозгами. А на что они нужны, как не на сохранение мира? Ведь если здесь что-то пошатнётся, стихи останутся бездомными. Выбираю свою страсть, а не себя. Свою голову, а не свое тело. Голова – моя эrogenная зона. В стихах – мой центр тяжести. Покой человека и покой творчества – разные вещи. Вадим боялся меня. Я была угрозой для его несурового одинокого мира, где только и возможно служить искусству. Поэтому и не сказал «Я тебя люблю».

11. Тоска без лица и адреса.

«В школе всех ценят по отметкам. Успеваемость критерий ума. Все были отличниками. А я одна была умной. Остро чувствовала свою особенность и умудрённость. Но училась плохо. Мы все закончили институты. А я одна защитила диссертацию. Теперь все довольны работой. А я одна продолжаю подзревать, что занимаюсь не тем, чем надо».

Ничего не случилось. Но однажды раздражение и тотальная скука стали осознанными. Тоска без лица и адреса, которая впервые постучалась у кровати подрастающего Юрка, выползала на свет. Глянцевые кольца наматывались на дела, события, интересы и обесценивали их. Отчаяние накапливалось. Не от звуком неудач, а беспочвенное.

«Страшное время накануне стихов. Время потерь без прозрений. Время бабочки, пытающейся разорвать крыльями неподдающийся кокон. Непередаваемый ужас существования, ещё не родившегося и уже похороненного».

Внешне всё шло хорошо. Но не к чему было стремиться. Будущее виделось только взрослением детей. Но дети – те дорогие друзья, которые непременно покинут. Ими не исчерпывалось предназначение. Работой тоже. Жила без цели.

Спрашивала себя вначале риторически, кем бы ей хотелось быть, если не тем, кто она есть? Готова была заново учиться, наводила справки, но бросила, сознавая обманчивость затеи.

«Во мне нет ничего хорошего, кроме мозгов, но они никому не нужны. Даже мне. И то, что они умеют делать, тоже никому не нужно. Даже мне».

Всё сводилось к голове. Голова выматывала до изнеможения, до иступления. Была первопричиной тоски. Хотелось с размаху удариться ею о каменную стену. Череп всмятку. Мозги нежно розовые тёплые. И перестать понимать, догадываться, доискиваться, формулировать, фантазировать, въедаться, разбирать, помнить.

В руках, сжимающих виски, лежали смысл и суть, и невероятная ценность, которые невозможно было использовать. Неясно как. Как?! Хотя... Фантазировать... Фантазировать... Без надежды побрела по этому пути, отматывая далеко назад.

«Не помню себя вне фантазий. Не случайные остроумные выдумки, а непрерывная, протяжённая история, наполненная героями, среди которых расту, совершаю поступки, влюбляюсь и завоевываю любовь. Только в год рождения Юрка не смела отлучиться в фантазии. Боялась снять руку с пульса неумолимой реальности».

Фильмоскоп детской памяти. Одни и те же неувядающие диафильмы.

Папа и мама наряжали в клоунский костюмчик, в колпачок, обклеенный серебряной бумагой, в тапочки с ватными помпонами, цветными тесёмками. На голове серебряный колпачок, на ногах белоснежные помпоны. Папа поставил на кровать, держит за руку. Мама любит.

Опускала на пол игрушечного тигрёнка, отбегала к маме. Прижималась, шептала: «Правда, он настоящий?» И ослабевала в маминых руках, впадая в обморочное изнеможение от возможности чуда.

«Но как маленький ребёнок мог распознать, что в жизни действительно важно? Вероятно, был не так уж мал. Его истинный возраст всегда был сначала бесконечность, а потом уже плюс два, или четыре, или десять. Маленький ребёнок строго и точно отделял значительные события от мелочей. И накрепко помнил».

За шкафом, упирившимся в потолок, сраставшимся со стенами, находился угол для наказаний. Безмерность покорного горя поворачивала лицом к стыку шкафа и стены, и становилось слышно, как тянет из щели космическим холодом.

«Детские воспоминания. Отчётливые, пронзительные. Именно память выстроила мою сущность и мой характер. Без неё я была бы неузнаваема, как если бы не имела лица. В детстве между счастьем и горем не было промежутков».

Длинные, серые промежутки выпадали из счёта времени и оставались стихией двойника, носящего то же имя, Оксана. Он мало был ей

знаком и не интересен. Учился на тройки, обижал бабушку, был озлобленным, упрямым, в упрямстве неодолимым. И в полной мере получал по заслугам. Оксана была мукой для родителей. Не могла признавать истиной их уроки, неся истину в себе.

«Длинные скучные промежутки учат жить в школе, дома, на работе. А горе и счастье ничему такому не учат. Но они показывают человеку границы его творческих возможностей. В предельных величинах горе и счастье сравниваются, и нестерпимая мука блаженства ли, отчаяния ли ставит тавро предназначения».

Детский сад жил в длинном доме с балконом на втором этаже. Клубились деревья. Лютики сеяли страх. Была очень маленькой. Беспомощно боялась куриной слепоты. Взрослые бросали один на один с опасностью. Но не было осуждения. Всё принималось, как данность. Всё существовало вне связи одного с другим. Последовательности не было.

В полях горизонты скрывала высокая трава. Над ней взвился крик: «Бык!» И дети побежали. Страх имеет разные имена, но голос у него один. Опомнились в глубоком овраге. Сгрудились там. А вверху на краю неподвижно стояло чудовище. И не смотрело в их сторону.

Рыжее солнце, прозрачное небо, вечернее стадо. Величественные чёрные с белым коровы. Белые пушистые с закрученными рогами бараны. У коров на шеях красные шёлковые банты. У баранов голубые... Папа с мамой смеялись выдумке. Не отговаривала, не обижалась. Правда красных и голубых бантов была значительнее правд, которые ни у кого не вызывали сомнений.

Всерьез всё началось с принцессы. То есть, не началось, а не кончилось – осталось, как способ существования. Бабушка повела в кино. Принцесса – золотоволосая девочка в изумительном розовом платье – сидела на ладони великана. От хрупкости и прелести, ни с чем не сопоставимых, в груди стало больно. Унесла домой муку восхищения.

Розовая девочка не могла существовать в обычной жизни. Оксана переселилась за ней на неосвоенные земли фантазий. Туда же переселились тигрёнок, чудовище Бык, стадо в бантах, хищные лютики, шкаф и холод за ним.

Оставила вместо себя угрюмого двойника. Внутренний счётчик честно отмерял насколько двойник хуже, неоправимо хуже, изначально хуже розовой принцессы – идеала, созданного им же самим. Но только с принцессой соперничал, только её вызов принимал.

«Стать розовой принцессой, совместиться со своим идеалом... Нужна лишь надёжная опора – рука великана. И его добрая воля».

С самых ранних лет никому себя не доверяла. Никогда не делилась переживаниями, ни счастливыми, ни грустными, тем более фантазиями. Откуда-то знала, что их надо прятать. Вообще много знала, не отдавая себе в этом отчёта. Подруги именно её выбирали в поверенные. Их тайнами тоже ни с кем не делилась.

Усовершенствованный в фантазиях Вадим был сильным, мужественным, и она искренне гордилась им. Был простым, доверчивым, и она могла решиться погладить его по

голове. В фантазиях с ним сложился доверительный диалог.

Но реальность всегда проигрывает выдумке. Вадим догадывался, что его сравнивают с кем-то, спрашивал с досадой: «Ну что ты всё время требуешь от меня?» Вызывающими выпадами мстил придуманному, расстраивая Оксану сопротивлением, непониманием.

«Идеалы сыграли с нами злую шутку, обесценив нас настоящих. Мы предъявили друг к другу непомерные требования, невыполнимые».

Размышления увели далеко назад, но не указали, как избавиться от удушающей тоски. И вдруг сделала единственный возможный ход. Спросила себя не «Что мне делать?», а «Что я люблю делать?!» Дрожащей рукой записывала на листы трудные ответы.

«Люблю одиночество, когда можно дать волю голове, и она, как мельница, будет крутить жернов, позволив чувствам отдохнуть. Люблю думать в бездействии. Непременно думать. Но не о продвижении по службе, не о науке, не о хозяйстве, не о нарядах. О чем хочет думать голова?»

«Люблю представлять то, что могло бы быть. Жизнь задаёт начала историй, но не даёт продолжений и концов. Или это скучные продолжения и пустые концы. Жизнь имеет в арсенале одну лишь несчастную нелепость. Я сама такая нелепость. Моя любовь к фантазиям тоже».

Слишком маленькими шажками продвигалась впотьмах. Отчаяние настигало быстрее. Сотрясало тихим смехом самоубийцы. Руки стискивали драгоценную голову, будто надеялись силой выжать из неё спа-

сительное решение. Пальцы хватали карандаш, строчили бессвязную исповедь.

«И что я есть с этим умением, с этой потребностью? А мне уже очень много лет. Я одинаково хорошо могу делать разное и одинаково не хочу делать ничего из того, что предлагают мне жизнь, профессия, интеллект. Хочу только думать и передумывать... О чем же хочет думать голова?»

Взяла новые листы. Сосредоточилась.

«Голова хочет думать о прошлом, которое не стало прошлым, осталось настоящим. Почему не ушло, не забылось? Как сделать его будущим, заставить сдвинуться с места и пойти в сторону желанного продолжения? Голова хочет завершать случайное и незавершённое, создавать продолжения и концы. Отделять уникальное от банального и, вынося перед глазами, любоваться совершенством... Я обладаю феноменальной головой. Она ломится от переизбытка увиденного, продуманного, придумываемого».

Подтверждая догадку, голова самостоятельным капризным существом возвышалась над телом, подобно точке над латинской «i». Она парила несоразмерно выше плеч. Шея, потом столб воздуха, а на нём уже голова. И сразу всё не так, всё новыми глазами.

Грифель до дерева стёрся о листы. Поиски свелись к одному вопросу: «Кто я?»

«Кто я? Господи. Я всё помню... Я ничего не забываю... Я ничего не могу забыть! Я вижу то, что никто не видит. Я умею видеть и называть. Проникать в мутную неразличимую глубину и выносить оттуда суть. Без

примесей и различий. Но как это использовать?! Господи. Как от этого спастись, если нельзя использовать? Я гибну. И записывая, не успеваю убежать от настигающих образов. Я думаю на два слова быстрее, чем пишу!»

12. Первый стих.

«Смерть – банальность, превысившая полномочия. Не посягну на свою несчастную голову. Надо остудить страсть, и решение придёт само».

Дача легко вправляла мозги.

В саду у соседа веселили глаз маленькие домики. Разноцветные, разномастные. На дверках замки, окошки задрнуты кружевными занавесками. Домики гномов. Чудно было знать, что скоро туда втиснутся большие люди с толстыми детьми, собаками, велосипедами. Голоса рассекут податливую тишину прямо по комарам, листьям, по шаткой деревянной скамейке у крыльца.

Прокралась мимо домиков к цветущему кусту сирени. Он с утра красовался, дразнил, высовывая из листьев надутые щёки. Вступила в него, вскинула руки, ловя ладонями прохладные шершавые комья, и замерла с поднятыми руками, перебирая пальцами цветы.

Шаги или шум листьев?

Шум листьев.

Ощупывала куст, отмеряя длину покражи. Долго крутила обломанную ветку, одолевая волокнистость коры. Куст притворно гремел листьями, призывая из ночи помощь. Помощь не пришла. Оксана отняла у него ветку и кинулась к себе, перепрыгивая через лягушек, шёпотом взвизгивая от их неожиданных пируэтов.

Взлетела на террасу, задула свечу, прицельно опустила ветку в трёхлитровую банку, усыпанную каплями воды, беззвучно расхохоталась. Села перед банкой и обняла её, захлёбываясь ароматом, поочерёдно прижимаясь щеками к покатым стеклянным бокам. Цветы жалостливо касались волос.

«Сейчас расплачусь от бессмысленной жизни, которая никак не образуется. Дети выросли, пока я ищу себя. Им безразлично, нашла я себя или нет. Если бы я отложила их до какой-то определённости, я бы сейчас ничего не имела кроме головы, которая не хочет служить мне. Всё помнит. И всё не то».

«Надо её опорожнять! Заставлять образы и воспоминания существовать вне меня. Сбрасывать их на бумагу. А ведь это созидательный вывод. Завтра сяду и по порядку начну записывать на отдельных листах. Сегодня тридцать первое мая. Завтра первое июня. Если каждый день писать один лист, к осени будет на сто воспоминаний легче жить».

Утром писать не стала. Настроение было праздничным. Ветка сирени поддакивала, подрагивала, отвечая движению на террасе. Голова не тяготила, наоборот, впервые было приятно ощущать её наполненность ценным материалом, который известно как извлечь.

Вечер не закреплялся на небе. Но в зените с полдня дежурил зыбкий месяц. Было светло и не верилось в простые объяснения. Хотелось сказочных. Юрок спал. Дачи спали. Спящее царство. Жалко было заснуть в такой тишине.

Вышла на крыльцо. Сад тряхнул глянцевыми листьями вишен, мато-

выми листьями яблонь и снова замер. Спустилась по ступеням. Села на деревянную лавку под цветущими деревьями, глядя через грядки на покосившийся соседский забор, на шершавые лопухи.

Соловей сделал попытку прочистить горло, повторил увереннее и зашёлся трелью. Соловей был частью тишины. И шелест листьев. И дребезжание стёкол в рамах. И дальний мат на дороге... Чисто, без запинок голова выстроила:

«Соловьиных рулад убегают неровные волны, присылая обманчивым эхом бесхитростный мат».

Отпустила строчки свободно уплывать, откуда приплыли. Расправила цветную юбку на коленях. Строчки не уплывали.

«Я не поэт, дорогие соловьи и матершинники. Нечего одолевать меня приторной лирикой. Мне чужды эти схемы, не знаю и не люблю их».

Со скамейки было видно колебание теней от свечи на террасе. Ярко засинело небо. Мир впитывал синь, как рыхлая промокашка с нарисованными на ней очертаниями действительности. Рамы потемнели. Выпукло задрожал свет свечи, выдувая стёкла жёлтыми пузырями.

«Уйду в дом и буду неподвижно сидеть. Погаснет свеча, буду также неподвижно сидеть, вытянув ноги, заложив руки за голову. Глаза привыкнут к темноте и многое увидят. Потом уйду в комнату и буду думать. Потом засну, не успев погасить лампу... Соловьиных рулад убегают неровные волны, возвращая обманчивым эхом бесхитростный мат».

Понравилась фраза. Вскочила, взбежала на крыльцо. Захлопнула

тугую дверь и оказалась в стихии жёлтого света. Чёткие переплёты придавили сад, прижали к ночи серые ольхи за забором. Среди спрессованных рамами деревьев склонилось над свечой отражение с зажатым в пальцах карандашом.

«Никогда не буду поэтом! Совестно братья не за своё дело. Слишком самонадеянно. Из таких строк могут получиться только серьёзные стихи, какие я пыталась писать о несчастной любви... очень скверные».

Нет. Был один хороший. Шла в первый раз без бабушки через парк, через чужие дворы в поликлинику греть горло. Весна топила снег, подрезая плотный лёд. Нога в сапоге осторожно пробовала кромку, опасаясь черпнуть воды. Короткое красное пальто колоколом, красная вязаная шапка с помпоном и белыми звёздами, с колючими ушами, застёгнутыми под подбородком на тугую пуговицу.

Прокладывала маршрут по разливу сверкающих луж, наполненных отражениями. Стих всплыл ответом направленному движению, рассеянному созерцанию и крепко утвердился в голове. Даже не пришлось записывать.

И хочется только молчать. И шагать
По лужам, глядя в отраженья
занятные.
И пёстрые рифмы в стихи собирать.
Тебе и весне, вам одним лишь
понятные.

Неудачное ударение в слове «глядя». Заикание последней строки. Беспомощные рифмы. Но, сколько ни пыталась улучшить, отступала, не внося изменений. Сила

ющийся в уши, – прошептала, с раздражением лоя во фразе порчу ритма.

«Неужели теперь все впечатления будут выстраиваться в надуманные ритмизованные этажи? Больная голова сама себе мастерит головоломки».

И подхватила следующую строку:

– А тихий вечер встречу на террасе, будя огнём теней живые души.

Ещё не веря и уже веря, быстро набросала в блокнот, складывая строки в двестишья, двестишья в четверостишья, едва успевая за словами, диктуя руке:

Я выплусь днём под грохот фур
на трассе,
Галдёж людей, врывающийся в уши.
А тихий вечер встречу на террасе,
будя огнём теней живые души.

В свету, который нежен и неярок,
в молчании слова перебираю,
пока не поплывёт свечи огарок,
и тьма не даст голубизну по краю.

Твёрдой рукой поставила точку. Закрыла блокнот и, прихлопнув его ладонью, отодвинула. Откинулась на спинку стула, проводя руками по кромке стола.

«Не случайность. Даже не та счастливая случайность, которая однажды даёт в руки выигрышные карты. Это сам выигрыш, выигранный давным-давно, но не востребованный. Значит, стихи... Но мало ли?.. Как пришли, так и уйдут».

Стихам нельзя было противостоять. Заставляли писать их за едой, за делами, за играми с Юрком. Выходила из дому на какие-то пять минут, стихи наперегонки устрем-

лялись следом, соревнуясь за право быть написанными. Изнемогала от любви к ним. Боялась их. Налетали приступами, и её било как в лихорадке.

«Ночью идеи, планы значительны. А утром и сама становлюсь неинтересной, и мои замыслы карикатурными. Глупые стихи, неумелые, а я пишу и пишу... Не могу не писать. Хотя могу писать плохо и могу писать хорошо. Нет, плохо я тоже не могу. То есть, могу, но не могу себе этого позволить. Нет техники, не знаю правил. Неважно. Всё, чему можно научиться, сейчас не главное. Главное то, чему научиться нельзя. Оно есть!»

Никогда бы не получились те листочки, о которых задумывалась вначале. Прозаическим отрывкам нужны были конкретные детали. А воспоминания удерживали неразъёмные впечатления, которые по составу оказались сугубо поэтическими. Их выразительность отчёркивал лишь острый грифель сильного переживания. А сильное переживание всегда свежо.

«Теперь ничего нельзя нарушать в плодоносном слое жизни. А ведь придётся уехать в город. Вдруг стихи пишутся только здесь? Вдруг они – сезонное явление? А если случится заболеть? Я бесправна. Получила разрешение пользоваться отпущенным счастьем. А на какой срок... На всю ли жизнь? Или на одно лето?»

Но стихи писались. Вопреки приездам Юры, гостей, вопреки зарядившим дождям. Было очень хорошо. Сидела с блаженной улыбкой на лице, полуприкрыв глаза. Слушала, как туго вбиваются в землю яблоки, предупреждая о конце августа. Не

жалела о лете. А раньше было бы грустно. А теперь всё равно.

Образы молчали, успокоенные в стихах. С пёстрыми всплесками воспоминаний уходила в стихи неизбывная любовь к Вадиму. Отслаивалась от настоящего, обретая, наконец, прошедшее время. Непомерная тяжесть уходила, но не пропадала, архивировалась, как священная реликвия.

«Я уверена в своих стихах. Пусть корявые. Но сильные, неожиданные. Они хороши тем, что явились сами и вопреки. Вопреки моим сомнениям и внутреннему протесту. Силой вырвали у недогадливости право жить. Эта сила не человеческого происхождения... Господи! Я совсем другая. Привыкла к беспредельному счастью. Можно ли привыкнуть к счастью? Или к чуду? Можно ли рассказать об этом? И кому? Нет. Стихи – форма фантазий. На них также распространяется вето одиночества и тайны».

Большого не смела желать. Видела и называла. Видела и называла. Совершенствовалась необычайно быстро. На первые стихи смотрела уже другими глазами, трезво оценивая степень их младенческого дилетантизма. На последние – глазами слушателя студии, жадно впитывающего уроки Большова. Смотрела строго. С потаённым сомнением.

«Кроме ярких впечатлений, я переполнена рассуждениями, наблюдениями, которые требуют творческого освоения, но громоздки для стихов. Втискиваю тяжёлые темы в тонкую сеть ритма и рифмы. Стихи получаются многословными, длинными. Страдаю от их убогости. Не люблю их. А это невозможно!

Я всё могу высказать стихом. Но я не всё хочу высказать стихом».

13. Три странички.

«Люблю, когда меня не замечают. Он мне виден, а я ему нет. Сажу на последнем ряду. Серая, неприметная, неотрывно слежу за ним, важным, видным. Ещё может делать вид, что независим. Но уже обречён».

Если и желала теперь чего-либо, так это найти человека, который бы понял и поверил, и растолковал ей самую её природу и значение. Стал бы дорогим собеседником... Каждый раз на студии охватывал восторг невероятной удачи. Искомый человек был очень близок, даже поименован.

«Большов старожил. Свободно чувствует себя там, где я оказалась внезапно и без всяких прав... Нет. Он не годится. Да и никто не поверит моей слащавой, прямо-таки рождественской истории».

Робела перед неприступной кафедрой, жёстким пиджаком, окладистой бородой. Скрытно молчала. Приглядывалась. Ловила взгляды.

Прозаические отрывки писала с изобретательностью. Большов хвалил. Соглашалась с похвалой. А мэтры внушали, что нужно сомневаться и быть недовольным своей работой. Не сомневалась. Одиноким четырёхлетний опыт подтверждал правоту. Понимала, как далека ещё от задуманного романа. Проза требует учёбы.

Испытывала чувство возвращения в родную стихию. Этот полёт по листу уже был. Точно был, давно. Обстоятельные дневники не писала. Падала на лист в минуту обиды или отчаяния, когда становилось неясно, как дальше жить. В

школе, если Вадим.. Тогда точно также душа уходила не в пятки, а в щёпот, вооружённую карандашом, швыряющую на бумагу фразы, россыпи пыльного синтаксиса. Скорость возникновения строк была скоростью, с которой приходило освобождение. Рука неслась по листам, отбрасывая исписанные. И замирала, выговорившись.

Разномастные исчерканные листы. Нераспознанные предтечи будущи́х стихов. Импульсивные всплески торопливого письма. Детская рука. Те же тревожные вопросы: «Почему я не как все? Чем я не как все? Посредственность, согласна с этим, но все остальные кажутся мне круглыми дураками и ничтожествами... Я не горжусь! Страдаю».

Полюбила пластичность прозы, которая оказалась доступнее и послушнее своевольных стихов. Приняла и эту свою способность. С благодарностью. Но уже без потрясения.

Стихи и должны были быть первыми, как несомненное доказательство призвания, предназначения. Только стихи могли преодолеть трезвый рационализм и упорное сопротивление взрослого человека, к которому явились. Принудить его поверить. Стихи пробили брешь. Большов вытянул из неё опыты в прозе. Наваливаясь животом на кафедру, он взывал к слушателям:

– Напишите! Ну, хоть три странички. Крошечный рассказик. Продолжите дома сегодняшней отрывок и пишите, не останавливаясь. У вас обязательно получится! Уверю вас!

Пока слушатели на студии писали очередное задание, ждал, следя

по часам. Сидел вполоборота. Медленно гладил себе руку другой рукой. Оксана отрывалась от тетради, украдкой рассматривала его.

«Взгляд направлен вверх. Не голова поднимается, только взгляд. В позе что-то чрезмерное, монашески смиренное, чего я в нём не нахожу. Наигранное смирение. Возмутительное и вызывающее. У, дьявол!.. Нос с горбинкой. Но элегантно слепленный. Как же обидно, что не видно губ. Думаю, тонкие, длинные. И сухой подбородок».

Задумчиво крутил на пальце обручальное кольцо. Снял, поиграл, перекатывая с ладони на ладонь. Стал надевать, но от рассеянности на другую руку. Кольцо не лезло. Опомился, надел на правильный палец.

«Всё время возвращается к кольцу. Крутит его и снимает. Спыхватывается и надевает. Кольцо мешает ему. Он недавно его носит».

Вытянул руку вдоль кафедры и схватился за край, откинувшись на спинку стула и чуть вбок. Второй рукой подпёр бороду и замер, уведя глаза к потолку. На руке светилось золотое кольцо.

Всё решилось мгновенно. Давний отрывок, прочитанный ещё на достопамятном показательном занятии, разница лет, борода, недоступные губы, обнажённое кольцо. Случайности совпали. Муж и жена. Мужчина и женщина. Крошечный рассказик.

Две недели самозабвенной работы и за окнами зала, занавешенными жатыми занавесками, уже сорил снегом конец декабря, светились синим вывески, от этого казалось, ещё сумерки, а уже давно была ночь. В зале было душно до дурноты.

Лучи ламп топтались на голове тёплыми тапками. Три отпечатанные странички лежали рядом с Оксаной на свободном стуле.

– Прежде чем дать последнее задание, хочу поздравить всех с близким Новым годом. Следующее занятие через месяц, – ошеломил Большов.

– И вас поздравляем, Евгений Сергеевич! – жужжала студия.

– А теперь последнее задание: придумайте небывалое, но убедите меня, что это было. Писать не надо.

Горько разочаровалась, узнав новость. Целый месяц! Проглядела, проглядела, прозевала... Большов кивал рассказчикам, таинственно помалкивая, покачивая головой. Вступила без обиняков, воскликнула тревожно и звонко:

– А меня в детстве украли цыгане! Я год жила с ними. Но однажды наш сосед встретил цыганку с ребёнком и узнал в ребёнке меня. Схватил за руку, а цыганка испугалась и убежала. Я ничего не помню, но среди других образов, ни с чем не сравнимые, существуют смуглые лица с яркими глазами.

– Ах! Как интересно, какая жгучая правда! – воодушевился Большов. – Как бы мне хотелось, чтобы меня украли цыгане!

– Ещё не поздно, вас ещё могут украсть, – утешила ласково.

Большов расхохотался вместе со всеми и свернул студию. Слушатели обступили его, одолевая вопросы.

Ждала, пока они разойдутся, сжимала нервными пальцами белые страницы. Взглядывал опасливо. Наконец, отпустил всех. Прошла за кафедру. Отчего-то поднялся навстречу.

– Гений Сергеевич. Хочу от-
дать...

– Давайте, давайте! – схватил за угол, потянул, слизывая глазами название.

Не отпустила. Стояли, крепко держа за рукопись.

– Гений Сергеевич... Вы открыли у меня способности, неведомые до сих пор мне самой. Я нуждаюсь в учителе. Все составляющие налицо. Мои самомнение и самоуверенность. Ваши чутьё и опыт.

– Конечно, конечно, – бормотал, не отрывая глаз от строк на листах.

– До свидания, – отпустила белый угол, отступила.

Рука Большова от неожиданности взлетела вверх и назад. Он стал фантастически недосыгаем.

Помнила наизусть все свои стихи. Теперь ещё Помнила наизусть рассказ. Он казался историей её жизни, но прошедшей, подзабытой, где действительные события и те, о которых только мечталось, перемешались до неразличимости. Рассказ всплывал абзацами.

«...Есть у неё в глазах, в самой глубине, черти. И не видны они, а может, их там и нет, но как помотришь на неё, поймаешь взгляд и чувствуешь за ним чертей. И она будто бы сама об этом не знает. Смотрит спокойно, мягко, а черти делают своё дело, мечут огненные стрелы. А ещё имя её. Сырое, тёмно-зелёное... русалочье. Обмирал.

Тина близко придвигала лицо. Медленно разглаживала пальцами его брови, говорила:

– Какие у вас глаза. Зелёные и длинные. Не пристало вам носить такие. Это не ваш цвет и не ваш раз-

мер. Неестественные ширина и раз-
вытость. Гибельные глаза. А ещё
плечистый, высокого роста.

Любил дорогие костюмы, умел
выбирать галстуки. Давно пережил
горечь привыкания к лысине. Отра-
стил, зато, бороду. С седой ухожен-
ной бородой лысина смотрелась
достойно и закономерно. А Тина
упрашивала сбрить бороду. Тине
нравилась красивая линия его губ.
Но тут уж упёрся. И оставила его в
покое...»

«Заигралась, зазналась, не заме-
тила... Прочтёт. Уже прочёл. Пой-
мёт. Уже понял! Но Большов тёртый
калач. Профессионал читает тексты
холодно... Нет. Будет потрясён. И я
увидю».

Было ветрено, промозгло. Снег
обстреливал мелкими ехидными
снежками, таял на лице слезами.

«Плакса я. Или болезнь? Темпера-
тура? О, это любовь! Влюблён не
он, как раньше мне казалось, а я. И
в этом наказанье дня... Ритм, ритм
и только... Большов. Слишком мно-
го чаяний сходится на нём».

У спуска в подземный переход
попрошайка сидела белой статуей,
неожиданно чистой, свободной от
патины. Прохожие, съёжившись,
бежали мимо. Все надели перчатки
и вовсе перестали подавать милос-
тыню.

14. Поле на шесть игроков.

Живыми на уснувших деревьях
оставались только мёртвые листья.
Снег теперь сыпал морозный, ват-
ный. Вата была обстоятельно разло-
жена по веткам. Они стали толсты-
ми. Окна блестели в этой белой пу-
танице золотыми конфетами. Фона-
ри румянили снег и множили фио-

летовые карнавальные тени, разго-
няя от ног лучами.

Чувствовала себя актёром, игра-
ющим ненастоящее в ненастоящем,
под лучами розовых софитов на не-
тающем снегу. Всё стремилось быть
ненастоящим, призывало сбросить
оковы назойливого правдоподобия
и непринуждённо взлететь.

Снег ставил лапы на грудь, при-
касался к щекам быстрым страст-
ным языком. Декабрьский вечер за-
медлял время, давая возможность
успеть, не спеша. Но пружина близ-
кого рубежа звенела внутри, отзы-
ваясь на огни ёлок.

«Не хочу попасть под машину,
когда иду домой с подарками.
Мысль дурацкая, но трезвая...
Вдвойне дурацкая в виду своей трез-
вости».

Жёлтую шишку из старых игру-
шек, как бутылка большую и увеси-
стую, повесили ближе к стволу на
самую крепкую ветку. Малиновая
скатерть жёстко оттопыривалась на
углах. Бело-синие тарелки стояли в
строгом порядке: две с одной сто-
роны, две с другой и по одной в тор-
цах.

Ёлка восторженно пульсировала
цветными вспышками. Пахло вкус-
но. Юрок с Асей и Дусей уже сиде-
ли за столом. Женька увидела во-
шедшую Оксану, схватила с дивана
шестигранную картонную коробку:

– Будем играть в шарики?!

– Конечно! Но давай по поряд-
ку.

– Папа мясо жарит.

– А ты?

– Мам! – вытаращила круглые
глаза, полные справедливого возму-
щения.

Засмеялась. Отступила, пропус-
кая дымящуюся сковороду, потяну-

лась к столу, поддерживая носом шлейф божественного запаха. Женька выбежала озабоченная. Забыла хлеб. Юрок проводил её безразличным взглядом маменькиного сынка, задумчиво изрёк:

– Раньше цветы не заворачивали в бумагу, а дарили так.

– Почему? – Дуся тонким чутьём остряка уловил предлог к шутке.

– Целлофана не было. Была только газета. Не заворачивать же их в газету?

– До того, как появилась газета, графиням цветы дарили в корзине, – объяснила Оксана.

– Газету придумал Ленин, – сказал Юра. – Пока жила его идея, газета была главным строительным материалом.

Вошедшая с хлебом Женька сразу встряла:

– Нет, первую газету печатал какой-то царь. Не помню, какой.

– Самая первая газета вышла в Англии, – уточнила Оксана.

– Но первую газету, в которую можно заворачивать цветы, придумал Ленин, – ввернул Дуся и под общий смех вышел победителем.

Самолюбивый Юрок поджал губы, догадываясь, что дал повод к веселью. Оксана, сопереживая, обняла его за плечи. Сердито вывернулся. Дуся тихонько подтрунивал:

– Юрочка, чьи такие длинные губы лежат в твоей тарелке?

– Не смей меня, я не хочу смеяться!

Выкрикнул со слезой в голосе, крепясь изо всех сил, зная, что перед Дусей не устоять. Непременно рассмешит. Все дети обожали Дусю, безошибочно угадывая в нём тайное желание дурачиться и играть в игрушки.

– Правильно, Юрочка, – с невинным видом вступила Ася. – Надо уметь себя держать. Ты же наследный принц, продолжатель рода.

– Продолжатель рода? А что я должен для этого делать?

Все покатались со смеху. Юрок надулся. Яркие огни прыгали по веткам, хватали цветными ладонями его золотую голову, бесцеремонно вертя во все стороны. Ерошили на затылке изумрудно-зелёные с красным отливом вихры, и вдруг резко окрашивали в фиолетово-жёлтый. Швыряли резкие тени от чубчика, насупленных бровей, носа то на одну гладкую щёку, то на другую, захлёстывая чернотой тонкую шею. Оксана задохнулась в томительной тревоге. Попросила жалобно:

– Жень, можно ёлка постоит тихо?

Дочь ткнула в невидимую кнопку. На потолок и стены легли размытые хвойные узоры.

– Ай! – Дуся подскочил, пытаясь спасти бокал, который зацепила локтем вертящая Женька. – Ася! Оксана! Женья, что ты делаешь!

Бокал расплескал содержимое и слетел на пол, разбившись вдребезги. Песня деликатно вылезла из-под стола, отступила в сторону. Стрекоза прижала уши, не отрывая взгляда от колбасы.

– Оксана! Ася! Тьфу, Женья! Ну что ты, не видишь, что ли? – Дуся терпеть не мог, если били посуду или, хуже того, резали себе пальцы. – Скорей собирай!

– Я не Оксана и не Ася. Мог бы запомнить! – отчеканила Женька и удалилась.

– Тряпку прихвати! – крикнула вдогонку Оксана, обкладывая сал-

фетками лужу. – Пап, ну ты напугал! Мы так и подскочили.

– А Стрекоза успела всё-таки воспользоваться паникой, – засмеялась Ася.

– Пусть и у кошки будет праздник. А Дуся всегда нас путает, – вернувшаяся Женька забралась веником под стол.

– Несмотря на недостатки, у Дуси много достоинств, – шутиливо, но с нравоучительной интонацией произнесла Оксана. – Редко, когда в докторе наук ум так удачно сочетается с остроумием, усидчивость с лёгкостью на подъём. Ты допустила оплошность и хочешь перевалить вину...

– Оставьте ребёнка в покое. Нельзя уже и стакан разбить на Новый год. Девочку маленькую отругали, насовали нравоучений, – отстоял любимицу Юра. – Лучше бы подарки дарили.

– О! Подарки, подарки! – оживился Юрок и встревожился. – А мороженое?

– Одно другому не мешает, – свысока заявила Женька.

– Совсем забыл. Совсем забыл, – заторопился смущённый Дуся. – Ася, идём.

Вернулись с загадочными лицами, с большими бумажными пакетами, пряча их за спиной. Все повскакали с мест. Заинтригованный Юрок вытянул шею, забыл про свои открытки из бархатной бумаги. Они разлетелись по полу. Песня побежала обнюхивать, наступая лапами.

Ёлка пятнала цветной потолок тенями веток. С неё, как созревшие плоды, срывались шоколадные конфеты и со стуком падали на пол, на стол. Шоколад размягчался и ослабленно отпускал тонкие золотые тесёмочки.

– Теперь шарики! – объявила нетерпеливая Женька. – Чур, мои красные!

– А мои чёрные, – поспешил сообщить Юра.

– Ну, вот! Сейчас расхватают самые красивые, а я буду играть последними, – обиженно воскликнул Юрок.

– Что ты! – Дуся подхватил на лету готовые слёзы. – Мы ещё не подарили тебе главный подарок! Ты выберешь любые шарики, какие тебе понравятся.

– Красные не отдам! – заявила Женька. – Я всегда играю красными. А другими играть не буду. Или играйте без меня.

– Так и знал, сначала пообещают, а потом не дадут всё равно, – Юрок трагически скривил губы.

– Жень, без тебя играть невозможно, – Юра спокойно раскладывал чёрные по прорезанным в поле кружбм. – А ты, Юрок, мог бы оставить сестре красные. Мои тебе всё равно не нужны, а из остальных выбирай, сколько хочешь. Прозрачные с пузырями, зелёные, белые и жёлтые.

– А может, я захочу твои? – решил поторговаться Юрок.

– Бери! – Юра развернул к нему коробку с выложенным для игры чёрным треугольником.

Юрок оторопел от неожиданности. Женька, успевшая построить красный треугольник, возмутилась:

– Мне теперь пересаживаться? Не хочу.

– Сынок, бери прозрачные, смотри, будто маленькие аквариумы с рыбками, – спасла положение Оксана, найдя в прозрачных неоспоримое преимущество.

Вверяясь выбору матери, согласнов кивнул и принялся с достоин-

ством раскладывать свои особенные, а, значит, лучшие шарики.

– И я хочу с рыбками! Нам сегодня давали только сыр и колбаску, а рыбок не давали! – притворно захныкал Дуся, быстро схватил крайний прозрачный шарик и сделал вид, что кладёт в рот.

Юрок повис на его руке, в радостной возне отнимая добычу.

– Ну, тогда я хочу жёлтые! – капризничал Дуся, веселя победителя.

– Жёлтые тоже красивые, я ими в прошлый раз играл, – снисходительно утешал внук.

Оксана подавила в себе предательские слёзы. Обернулась к Асе, которая тщательно разглаживала и складывала в стопку сорванную с подарков яркую бумагу.

– Мам, ты какие шарики выбираешь?

– Какие останутся, – перегнула пополам лист и провела по сгибу ладонями.

– Но белые и зелёные очень разные, – допытывалась Оксана. – Не может быть всё равно. Ведь что-то ты на самом деле хочешь, а что-то не хочешь?

– Наверное... – тихо улыбалась Ася, изящными пальцами приминая сложный лист. – Но я давно научилась ничего не хотеть. Мне всё хорошо.

Ася была самой загадочной фигурой в семье. Свободная от всех страстей, кроме страсти служения ближнему. Самоотверженная, способная радоваться чужим удачам, – редкое качество даже у хороших людей, способных горевать из-за чужих неудач.

«Об этом говорил когда-то Вадим: Не то, что радостями, печалью не с кем поделиться».

Ася любила свежесть и простоту, редко смотрелась в зеркало –

доверяла своей совершенной природе. Юношеские фотографии восхищали летучестью. Ясные глаза. Прямой нос. Изысканно вырезанные ноздри. Светловолосая сероглазая девочка смеялась на всех карточках.

– У тебя было в школе прозвище? – вдруг спросила Оксана.

– Буратино, – и засмеялась так же, как на старых фотографиях.

– Мам, бери зелёные шарики, я буду белыми.

– Но ты же любишь яркие, а мне не важно.

– Ну, мамочка, возьми зелёные. Тебе всё равно, а я так хочу. Возьми зелёные.

– Хорошо, – улыбнулась и убрала стопку цветной бумаги в пакет.

«Красивая женщина красива не для всех. Красота относительна. Всеобъемлюща только обаятельность! Я не унаследовала отцовскую волевою красоту, которая досталась Юрку, не унаследовала материнское изящество, которое досталось Женьке...»

Откинулась на спинку дивана. Прикрыла глаза. Чувствовала себя большой жёлтой шишкой, которой надо всего лишь висеть поближе к стволу. Чувствовала себя ребёнком, которому надо всего лишь не потеряться. Блаженное состояние безответственности и защищённости, обеспеченное любящими.

«Обаяние. Вот моё кровное наследство. А ещё терпение и высокая требовательность к себе. Что не прощаю себе, не прощаю и другим. Потому так несносна. Однако с этой мутной водой я зачерпнула из глубин родословной и кистепёрую рыбу моего таланта... Но как много приходится врать даже самым любимым, если хранишь такую огромную, неудобоваримую тайну».

3 ЧАСТЬ ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ

15. Ученик.

«Бороды не лучшее, что есть у мужчин», – внушала Тина, упрашивая мужа побриться».

Большов ужаснулся прямолинейному намёку рассказа. Задохнулся от возмущения, запылал любопытством.

«Не оттого ли ей по душе безбородый Кирпичёв?» – томился тягостными сомнениями Пётр Иванович. Но бороду берёт».

Интрига всосала, как водоворот, утащила на глубину, кружила, топила, сбивала с толку.

«Пётр Иванович не мог разобраться, кто такой Кирпичёв? Ходит к ним, носит за собой побитый футляр, достаёт из него, как факир, флейту, играет, смотрит на Тину рассеянным взглядом непроницаемых глаз. Густо коричневых, похожих на шоколадные конфеты. Непременно во всех семейных начинаниях присутствовал вялый невозмутимый Кирпичёв».

Читал в метро. Жадно, с досадой прерываясь, чтобы сделать пересадку, на ощупь отсчитывая ногами ступеньки, забегая вперед, возвращаясь назад по плотному мелкому шрифту страниц.

«Ну что в нём такого? Одутловатое лицо, тёмные волосы, ровный нос, круглый подбородок. И маленькие пухлые губки!» Отрывая

инструмент от губ, Кирпичёв ими жевал, разминая, а потом вытирал платком. «Интересно, у всех флейтистов такие капризные, влажные, нежные губы, избалованные близостью с благородным металлом? Или только у нашего? – озадачивался Пётр Иванович».

Нервничал. Спешил прочесть рассказ, вскрыть его коварную подоплёку. Горючливая передавалась ногам. Почти бежал, задыхаясь, глотая абзацы с хлопьями мокрого снега.

Узнавал себя в простоватом Петре Ивановиче. Сходство было не случайным. Убийственно точно нарисовала портрет. Взвился злой ревностью от известия о существовании неведомого Кирпичёва. В точности повторил душевный порыв подозрительного мужа Тины. Разозлился на себя за это. Разозлился на Оксану за всё.

«Пётр Иванович посмотрел на открытое плечо Тины. Оно было по русалочьи белым, будто никогда не знало солнца. Косо взглянул на Кирпичёва. Тот пил чай».

Упал на мокрую скамейку под фонарём и, прикрывая листы от снега ладонью, дочитал. Сладострастно проглотил яд. Скомкал отравленные страницы, сунул в портфель, как в гроб, засыпал рыжей глиной обиды, жажды мстить. Сидел измученный, лихорадочно ощущая замок портфеля.

«Как ей удалось? С последнего ряда заглянула в душу и увидела сокровенное, тщательно скрываемое. Неужели я так прост? Неужели действительно все мужчины одина-

ковы? И как теперь прикажете понимать просьбу быть её учителем? В чём? »

Содрогнулся, представив себе, как будет разбирать ироничные рассуждения о бороде мужа, закрывающей его красивые губы, или, не моргнув глазом, обсуждать эпизод, где жена, в которой легко узнаётся Оксана, любовно разглаживает Петру Ивановичу брови, заглядывая в глаза. В прозрачные зелёные глаза Большова.

Смелые ласки, откровенные слова Тины кружили голову. Томился от беспомощности. Чувствовал себя бесправным узником рассказа. Хотел бы решительно и гордо уйти из нарисованных картин, но оставался их смехотворно деятельным участником.

«Открыто высмеяла меня, смело и бесцеремонно используя невинный способ литературного изложения».

Острое желание тотчас посмотреть на себя в зеркало сдёрнуло со скамьи, бросило к дому. Сравнить! Провергнуть! Взглядеться её глазами.

«Это она была в мае на собрании! Она тогда опоздала. Я уже выступал. Но отчего-то заметил её и запомнил. Написала хороший отрывок, вызвалась читать. Да! Из того хорошего отрывка и вышел этот чудовищный рассказ».

Не мог совладать с лицом. Сколько ни тёр ладонями, не стиралось выражение обиды и растерянности. Дверь открыл своим ключом. Надеялся избежать вопро- сительного взгляда жены. Но она уже встречала. Промямлил:

– Дорогая... Невозможно устал. Голоден. И автобуса не было.

Закивала, отступила от двери, зябко сторонясь мокрого пальто. С досадой заметил её нежные голые до плеч руки. Затравленно помотал головой.

«По тому, какой пышноволосой и белотелой была жена, становилось ясно, что Пётр Иванович совсем не стар, хотя и зарос седой бородой».

В шерстяной домашней кофте сидел после ужина перед печатной машинкой. Несмотря на присутствие компьютера в доме, машинке верил больше. Выдвигал звенящие бронзовыми ручками ящики стола, забитые бумагами, исписанными блокнотами. Зелёное суконное поле завалили книги и присланные на рецензию работы. По правую руку торжественными стопками лежала рукопись романа.

Беспорядок на столе и в ящиках был чисто внешним. Большов ничего не терял. Но заботливо поддерживал божественную живописность среды, отражающую романтический процесс – литературное творчество.

Уважал традицию, иерархию, знал своё место – не броское, но достойное, ценил его выгоды, мечтал о большем, но разумно. Гордился званием писателя. Признаваясь собеседнику в причастности к писательскому цеху, неизменно испытывал превосходство, которое тщательно скрывал.

Литературную студию растил с любовью. Был благосклонен к старательным, безоговорочно признающим первенство руководителя. Внушал, что всякий способен стать писателем, добиться успе-

ха усидчивостью и трудом, трудом, трудом. Если писать хотя бы по три странички в день.

В обидном рассказе, как назло состоявшем из трёх пресловутых страничек, был виден талант, подходя совершающий то, над чем другие будут трудиться в поте лица и всё равно не достигнут искомой непринуждённости и лёгкости. Большова всегда мучила стихийная зависть к победителям. Незаслуженно удачливым. Незаслуженно! К желторотым выскочкам, на длинных ногах случайного дара перешагнувшим трудолюбие, опыт, эрудицию, профессионализм!

Наконец, остыл. Теперь мог оценивать рассказ отвлечённо. Текст не содержал ничего лишнего, тему исчерпывал полностью. Всё подчинялось скорости. Слова неслись, направленные замыслом. Увлекали быстротой, точностью попадания, но вдруг врезались с размаху в незаметно воздвигнутую преграду и оползали по ней ошеломляющим откровением.

«Первозданный пронзительный дилетантизм. Автор то ли с пренебрежением откинул нажитые человечеством традиции, то ли не знал их. Немыслимо! Невозможно. Написано талантливо, но несовершенно. Ярко, индивидуально, но технически неумело».

Это утешило, примирило с обидой.

Если бы не его портрет, не её портрет, не те щекотливые отношения, в которые Большов невольно вступил с Оксаной, пусть и в рассказе, пусть и под другим именем, он сказал бы - прекрасно, замечательно. Замечательно и для новичка, и для зрелого писателя. Но

через месяц она пристально глянет в глаза и спросит о рассказе. Представил себе её взгляд и пришёл в смятение.

«Сбылась мечта. Дождался-таки ученика, учитель. Расхлёбывай. Дождался появления нового имени, которое прославит имя педагога. Она посмела оспорить первенство. Она посмела!.. И стала долгожданным учеником».

Заправил в машинку лист, напечатал:

«Уважаемая Оксана!

Вы мне доставили огромное удовольствие Вашим рассказом. Он свидетельствует о несомненных творческих способностях, я бы даже сказал, о таланте. Некоторые сцены, в том числе и заключительная, просто захватывают. А главное, у Вас есть то, что можно назвать поставленным письмом (по аналогии с поставленным голосом). Желаю Вам творческих удач. Е.С.Большов».

Перечитал. Брезгливо вынул из портфеля скомканные сырые листы и вместе с отзывом положил в нижний ящик, о котором следовало срочно и навсегда забыть.

Мыл, мыл песок. Надежды были слабы. Шанс мизерный. Это утрачивало, располагало к безответственным мечтам. А мечта вдруг сбылась, и напугала многими практическими неудобствами.

«Но красивая женщина! Обращает на себя внимание. Умна. Естественно держится. Таких мало, поэтому они и видны сразу. Посмотришь на неё, и сразу закрадываются мысли...»

Думал об Оксане, с досадой замечая, что и здесь повторяет злощастного Петра Ивановича. По жестяному подоконнику за окном барабанила ночная капель. Таяла последняя декада декабря.

«Оттепель. Дать, что ли, такое задание на студии? Нет, сначала путешествие на теплоходе».

Жена давно легла. Привыкла к его ночным занятиям. А он и не притронулся к роману. Ни одной странички за день. Крадучись, прошёл в ванную, встал перед зеркалом, скрутил бороду в кулак. Приподнял усы, пытаюсь рассмотреть губы.

Действие это показалось непристойным, воровато оглянулся, заперся на задвижку. Вернулся к зеркалу. Задумчиво тискал бороду, скрёб пятернёй. Щёки зудели, словно борода была приклеенной.

«Да, едва мечты становятся реальностью, им уже никто не рад».

16. Новый.

Первое в семестре занятие на миг предстало траурной церемонией. Жатая занавеска окна была наброшена на откуда-то взявшиеся ящики, которые стояли в простенке друг на друге. От этого широкая жатая вертикаль казалась крышкой большого гроба, установленного в наполненном людьми зале.

Оксана натыкалась глазами на знакомые лица, кивала в ответ. Скользнула взглядом по кафедре, ничего не разглядела от волнения, кроме траурной крышки. Приткнулась в последнем ряду. Подняла глаза. Возвышались те же бороды, с ними несколько новых. Крайний у окна оригинально противопоставлял бородам безукоризненную безбородость. Большова не было.

Успокоилась. Щепетильный разговор о рассказе, отданном месяц назад, отложился сам собой. Хлопнула дверь. С надеждой оглянулась. Нет, вошёл кто-то из слушателей. Повернулась к кафедре и поймала убегающий взгляд крайнего.

Интересный. Высокий лоб, чуть впалые щёки, тонкие длинные губы, решительный подбородок. Удивило, что незнакомец так точно вычислил её. И так спешно избежал ответного взгляда. Задумалась, не знает ли его? Или где-то видела? Разглядывала пристально, пытаюсь припомнить. Сидящий у окна, несомненно, был ей знаком.

Значительный. Со строгим лицом, лысиной, обрамлённой седыми волосами. Опять хлопнула дверь. Опять оглянулась с надеждой. Нет, не он. Не стала смотреть в президиум. Опустила глаза, зажмурилась, пытаюсь восстановить портрет крайнего и понять его сходство с кем-то.

«Боже мой, вдруг это Большов?» – и тотчас отказалась от бредовой идеи. – «Нет, он другой».

Взглянула снова. Бритый не смотрел в её сторону. Невозмутимо кивал, показывая согласие с лектором, который бубнил под шумок зала. Слушателям надоело слушать, не терпелось поболтать.

– Кто сидит у окна? – не поднимая глаз, обратилась к соседу.

– Ты не узнала? Я сразу узнал.

– Неужели Большов?!

– И чего он сбрил бороду? – пожал плечами сосед.

Не смела взглянуть. Образ крайнего стремительно совмещался с памятным, но уже не существующим. Да! То же чело, только волосы длиннее. Прозрачные острые глаза.

Но ещё губы, подбородок, щёки. Не утерпела, вскинула голову. Встретила его взгляд. Важно отвернулся.

«Потрясающе новый!»

Обнажённость лица явила сильную чувственность, прежде скрытую. Лицо предстало первозданно голым, внезапно помолодевшим. Что-то было в нём чуть пошлое, чуть надтреснутое. Слабость! Не доброта, а слабость, которую, пока она была скрыта, все принимали за доброту.

Вздрыгнула, выпрямилась, нажимая лопатками на спинку стула, словно в ощущениях искала подтверждения реальности происходящего.

«Неужели... Неужели... он сделал это, прочитав мой рассказ? Сетования любящей жены... Соотношение бороды и лысины... Потрёпанный ценитель женского пола... Неужели? Нет, невозможно! Невозможно невозможно невозможно! Возможно».

Опровергая малейшую возможность, Большов невозмутимо сидел, задрав подбородок, удовлетворённо демонстрируя себя. Волосы смялись на воротнике.

Не смотрел на Оксану. Видимо, её пристальные взгляды уверили его, что узнал. Из-под напускного благодушия умершей бороды чернильным пятном проступила демоничность, которая прежде проскальзывала только в глазах.

«Совпадение? Или из-за моего рассказа? Влюблён? Раз так зависим, готов совершенствоваться? Если настигнуть его вопросом, получу ли правдивый ответ? Непре-

менно соврёт. А нужен ли ответ? И как теперь узнать о рассказе? Осмелюсь ли? Тысяча вопросов».

Собрание, распущенное на перерыв, зашевелилось, потягиваясь. За взметнувшимися спинами на цыпочках прошмыгнул широкий Большов. Блестящий затылок воспарил, как нимб, как летающая тарелка. А у стены обнаружился аквариум на тумбочке. Раньше его не было.

Перерыв просидела на месте, погружённая в безответные лабиринты события. Глядела на аквариум, в котором циркулировала флегматичная белая лягушка, чьи однообразные движения действовали умиротворяюще.

«Неужели мой рассказ воспринят, как руководство к действию? Гениальный рассказ! Не о чем теперь спрашивать».

Очнулась, когда Большов, опершись руками о кафедру, произнёс:

– Я хочу вас уведомить...

Одним словом подтвердил соответствие самому себе.

– ...Я хочу вас уведомить. Литературная студия скоро будет заниматься не в зале, а в угловой аудитории на втором этаже.

Говорил, часто облизывая губы, высовывая вперёд язык и убирая. Губы были тонкими, наложенными на сильные мышцы рта. Пристрастно наблюдала. Любовалась ликом, как своим творением, – чуть вытяженной нижней губой, резким подбородком, крепким черепом, горбинкой носа.

«Можно без памяти влюбиться».

– Сегодня я хочу рассказать вам о китайской поэзии. Дать представ-

ление о духе, истоках, традициях, питающих её, – заложив руки за спину, прохаживался вдоль кафедр.

Вокруг неувловимых глаз кружили неяркие брови, складки век и подглазий. Но сухие, не мощные. Лицо прочерчивали горизонталы – глаз, нижней площадки носа, соединения губ. Только линии и тени. Горизонталы придавали лицу значительность, не нагружая тяжестью. Линия нижних век была прямой. Линия верхних век плавно приподнималась над глазами, чуть отсекая. И было не понять, где сходятся верхняя и нижняя линии.

Слушатели следили за ним, привыкая к его новому облику. Большой вещал:

– Я начну, может быть, странно... Что вы знаете о китайских хризантемах? – сделал паузу. Все промолчали. – Китайские хризантемы – поэтические цветы. У Тао Юаньмина в каждом стихотворении встречается хризантема. Образ жизни сплетался с образом мышления и выражался в неповторимой поэтической мелодии.

Прошёлся за кафедрой и прочно сел в скрипучее вертящееся кресло, вытянув руки и положив кисти на край столешницы, разглаживая грань с зазубринами от ножа безымянного вандала. Кольца на руке не было.

– В Китае сложилась особая философия вина. Была изысканная традиция пить вино с лепестками хризантем.

– Если просто пить, ты пьяница, а если с лепестками, поэт, – вставила Оксана, вызвав веселье в рядах.

Рассмеялся, растягивая губы. Демонически красивое лицо стало неприятно шутовским. Нижняя губа выдвинулась вперёд, углы карикатурно подскочили.

Ловко подхватил реплику:

– Подмечено точно. Китай загадочная страна. В ней очень бережно относятся к каждому явлению природы и жизни. Даже пьяный человек может стать предметом изучения и дать пищу глубоким размышлениям и оценкам. Например, гимнастика Ушу родилась из имитации движений пьяных.

Все склонились, прилежно записывая, и открыли Большова, который сидел, выпрямившись, и смотрел в пустоту над головами. Медленно перевёл взгляд на окно. Но вдруг повернулся и быстро взглянул на Оксану.

Смело послала ему улыбку, словно были в зале совсем одни. Отвёл взгляд, не ответив.

«Воображала».

Подстерегала его. Снова опасливо взглянул. Улыбнулась. Неуверенно скривился в ответ половиной голых губ.

«Жадина».

Головы поднялись. Большой спрятался за ними и больше не выглядывал в прогалы, через которые Оксана пыталась его калёными взглядами.

Рассказывал о пятисловных и четырёхсловных стихах, с упоением декламировал:

– Не знаю, что было за тысячу лет до меня. Живу беззаботно, мгновению каждому рад. Так стоит ли в книгах о радости чьей-то читать...

И то же самое по-китайски. Завершил лекцию рассказом о пейзажной лирике, «ветре и потоке» – главной идее творчества.

Слушала в пол уха. Отводила глаза от аквариума только затем, чтобы набросать в тетрадь очередную строку, – стих уже ткался в ритмике челночных движений лягушки, вбирая в себя лепестки хризантем, древность, голое лицо Большова. Лягушка тянула сквозь основу водорослей нить связности.

Студия снялась с насестов. Защёлкали замки портфелей. Все потянулись к дверям. Оксана подошла к кафедре. Ждала.

Долго устраивал в портфеле томик китайской поэзии.

«Противный».

– Вы что-то хотите сказать, Оксана? – поднял голову, вскинул брови.

– Да, Гений Сергеевич... – улыбнулась, одолевая волнение, которое похитило нужные слова и подсунило одышливую паузу. – Я... Многое узнала сегодня.

– Что ж... Очень приятно, – проговорил отрывисто и уткнулся в портфель.

– Я рада встретиться с вами после долгих каникул, – призналась вдруг.

– Я тоже, – выпрямился. Голубые глаза на внезапно красном лице.

– Я сначала вас не узнала... Человек потерял бороду и нашёл лицо.

17. Лягушка.

«Не должна красивая женщина быть ещё и талантливой. Но она талантлива, уверяю вас. Тогда не красива. Нет, красива. Хотя в ней нет ничего бесспорно красивого.

Красива вообще. Очень неопределённо. Не художественное описание».

С тревогой шёл через неделю на студию. В зале сразу увидел Оксану. Хотел быстрее пройти мимо, но бегство было бы слишком явным, и приостановился. Смутился, скомкал приветствие, прожевал его вместе с откушенным яблоком, которое держал в руке.

Ответ поймал спиной, уходя к кафедре чуть быстрее и беззаботнее, чем следовало. Чуть беззаботнее грызя яблоко. Споткнулся о ступеньку, судорожно вздохнул, поперхнулся, закашлялся, выронил отгрызок, стал суетливо поднимать его, раскраснелся. Наконец, утвердился на кафедре, обозначил начало занятия.

В зале нарушилось равновесие. Центр притяжения пришёлся на последний ряд. Нога на ногу. Склонённая голова. Рука летит по листу, не отрываясь, не останавливаясь».

«А ведь я задания ещё не давал. Непременно напишет хорошо, что бы ни писала. Остальные обычные».

Быстро взглядывал, примечая волнистые волосы, сплетённые в косу, прядь, упавшую со лба, которую Оксана, не прекращая писать, привычным движением заводит за ухо. На мочке блестящая точка. Выпуклая вязь плаття. Малиновая по чёрному. Фактура и цвет китайской лаковой резьбы.

Забыл, о чём собирался говорить, тупо молчал. Слушатели озадаченно ждали. Очнулся. Дал задание.

Все наклонились к тетрадам. На десять минут лишь он один остался бездеятельным. Рассматривал пишущих, картины на стенах, тумбу с аквариумом. Задрал рукав пиджака, посмотрел на часы:

– Осталась одна минута, – повёл глазами от аквариума к чёрным окнам в морозных узорах. – Может, кто-то уже готов?

Распрямылась, захлопнула тетрадь. Пробралась по ряду и вышла из зала, заботливо придержав дверь.

«Вовсе не задание писала. Вызвать, когда вернётся? Нет. Лучше не трогать».

Вспомнил о кошмарном вечере, когда отдала ему рассказ. О цыганах, которые ещё могут его украсить. Беспричинный смех налетел ознобом. Кивал выступавшим, прикрывая лицо. С трудом успокоился, тяжело перевёл дух.

Предложил тему новой дискуссии как раз, когда Оксана вернулась. Словно нарочно ждал её:

– А теперь поговорим о словах, которыми мы пользуемся в своём литературном труде. Работая над романом, я долго искал одно слово. Подбирал: «...мечтал быть литератором... писателем... филологом...» И нашёл: книгочеем! Книгочеем... – повторил, вслушиваясь в звучание. – Или надо ещё искать?

– Ищите ещё, – сказала посреди тишины, прямо глядя на него.

Возненавидел мгновенно. Впервые очерёдь потому, что была права.

– Задание на следующий раз. Вспомним лето. Вы плывёте на теплоходе, знакомитесь с кем-то из пассажиров. Расскажите, какие

они. К примеру, супружеская пара, оба устали друг от друга, и тут у жены возникает интерес к соседу по каюте. Вы, конечно, придумаете лучше. Жду ваших работ.

Движением руки распустил студию. Краем замутившегося глаза увидел малиново-чёрную вязь, подступившую вплотную.

– Гений Сергеевич...

Повернул к ней голову, не владея лицом. Нахмурилась от неожиданности. Отступила, словно желая окинуть взглядом его всего. И тут же переменялась, стала легкомысленно весёлой.

– Гений Сергеевич. Ваш рассказ о Китае вдохновил меня. Хочу подарить вам стишок. Случайно вышел.

Тетрадный лист, несколько строк карандашом. Сунул в портфель. Нёс домой осязаемую тяжесть. Ненависть ширилась. Припомнились прежние обиды, язвительные реплики, двусмысленный рассказ.

«Пока не спрашивает о рассказе. А вдруг спросит? Спросит».

Выхватил из портфеля лист. Прочёл.

Урок древнекитайского

Ничто у древности не выпитать,
Но всё откроется легко,
Когда вино не просто выпито,
А с горстью лёгких лепестков.
Лягушка смотрит с недоверием
Сквозь голубую грань стихий,
Как иероглифов феерия.
Преображается в стихи,
Встаёт стеной в тяжёлом мареве,
Звучит... Показывая класс,
Плывёт лягушка сквозь аквариум,
Как белый голый водолаз.

Пришёл домой. Лёг. Молчал. Жена хлопотала над ним. Глядел в потолок. Если бы умел, плакал бы от злости и унижения. «Ищите ещё!» Закрыв глаза. Лежал долго, казалось, вовсе не спал. Приснилась Оксана.

Но она не она, а неопределённое тело. Даже не тело, а образ тела. Большой гладит, ласкает его с неопределимым наслаждением.

Проснулся. Сон отдавался сладкой усталостью, возвращая сцены любви с бесформенным существом, извращённо доступным, бесстыдно раскрытым навстречу желанию.

Ласкаемое тело было гладким, пластичным, будто специально создававшим множество впадин и выпуклостей для ищущей руки. Не человеческое тело. С остатками сна уплывала исполнинская лягушка цвета слоновой кости.

Откинул одеяло, сел на постели, спустив на пол босые ноги. Прикосновение ступней к холодной поверхности подействовало благотворно. Вскочил, отталкивая стул, роняя с него одежду. Босиком прошёл к рабочему столу. Роман лежал двумя стопками. Духматой исходной и аккуратной готовой.

Писал пять лет, тщательно продумывая, педантично выполняя ежедневный план печатных страниц. Вечером не мог отказать себе в удовольствии пересчитать их, но делал это в одиночестве, стыдясь глубинной недоброкачества занятия.

Переключал страницы. Глаза зацепились о строку: «Я с юношеских лет мечтал быть книгочелом...» Переложил лист вслед за другими. Наступил на стопку тяжёлой пятернёй.

– Ненавижу! – убеждённо и страстно заявил пыльному бронзовому Аполлону на чернильном приборе.

Всю неделю думал только о ней. От романа тошило. Писал через силу. На студию собирался со страхом. Пристально разглядывал себя в зеркало. Поворачивал голову то в одну сторону, то в другую. Применял улыбку.

Научился набрасывать маску радушия на судорогу злости, но иногда маска садилась косо, из-под неё сквозило истинное. Озабоченно осматривал себя в зеркало, подправляя смятое выражение.

Неделя прошла. Ненависть не прошла.

Напористый ветер с мелким снегом размахивал дверями метро в квадратах вечерних сумерек. На сыром белом покрове оставались отчётливые отпечатки подошв. Опять оттепель. Поднявшись по гранитным ступеням, снял кепку, от души послал в угол тамбура мокрый вихрь.

Вошёл с улыбкой, отработанной у зеркала. Умело берег её, пока вёл студию. Успокоился. Воодушевился. Когда по окончании занятий надевал в вестибюле пальто, улыбка оставалась такой же неотразимой.

– Гений Сергеевич, – как ни в чем не бывало.

– Да, да? – доброжелательно, непроницаемо.

– Скажите... Я отдала вам рассказ. Потом стих. Мне бы хотелось узнать...

– Разве вы пишете стихи? – искреннее удивился.

Сощурила глаза. Отступила молча.

*Был мстительно взволнован.
Медлил уходить. Что-то ещё надо
было сделать. Вернулся в зал. Ос-
тановился у аквариума.*

*Лягушка цвета слоновой кости,
глянцево блестящая, словно поли-
рованная, сонными толчками бро-
сала себя сквозь вертикали водорос-
лей, увлекая следом шлейф из
взметнувшихся со дна остатков
корма. Передние лапы с длинными
прозрачными когтями были плот-
но прижаты к телу. Что-то вос-
точное было в лягушке. Что-то на
границе приличия. За гранью. Но од-
нозначно допустимое, ввиду абсо-
лютной эстетической законченно-
сти.*

*«Красивая, и ты в неё влюблён.
Талантливая, и ты её ненави-
дишь».*

18. Пианист.

«Талант должен преодолеть авторитет! – пинала ногами снежный комок, попавшийся на дороге. – Каждый раз непременно ухожу. Почему в отношениях с дорогими людьми итог один – уйти навсегда?»

Нет, не только обида, не только досада. Больше, больше потеря! Разочарование.

«Бойся разочарованных людей. Кто это сказал? Пусть Большов будет авторитетом для кого угодно, но меня не обманешь. Его похвалы мне не нужны. Ставят меня в ряд с его никчёмными почитателями. Не хочу его почитать. И читать не хочу. Я почитаю только талант. Талант несомненен. Я знаю это в себе!»

Одиночество приоткрыло бесстрастное лицо. От него повеяло догадкой о неизбежности. В обре-

тённом мире люди оказались всё теми же. Большов не был небожителем. Земной, завистливый, подверженный низменным страстям.

«Старый лживый интриган. А я увлечена им. Да я сама интриганка в его глазах. Такая у нас уродливая взаимность. Как он зовёт его злить, противоречить ему! Учитель отказался учить. Учитель оказался ничтожеством».

Красные сигнальные огни в тонком кишечнике метро. Жёлтые огни большой улицы. Белые фонари двора. Тесная колыбель. Нужна рука, за которую можно ухватиться и шагнуть из колыбели.

«Большов спрятал руку за спину. Он для меня потерян. Не буду туда ходить».

Не хотелось считать решение окончательным. Бросила конец грустной мысли не завязанным.

*«Сколько в его облике скрытно-
го, страшного. Он пишет против-
ный роман, понукая себя против
воли. Он всё знает про свой дутый
авторитет. Но притворяется. Не
хочет давать другим повод усом-
ниться. Притворяется, что лю-
бит людей, литературу. Ничего не
любит! Поэтому у него ничего не
получается. Он злится и завидует.
Даже мне. Хотя я никто. Зато я
знаю, что такое – желание писать.
Я в зависимости от этого соблаз-
на. Причина искусства – талант и
понукания Бога. Вадим понял это
еще в школе, а умудрённый опытом
Большов никак не поймёт».*

«Не соразмерила силы. Слишком смело высказалась. Восторженно кинулась навстречу и повалила колосса, казавшегося незыблемым. «А

вы пишете стихи?» Притворился, что забыл. Как он жаждет меня обижать! Как-он жаж-дет ме-ня о-би жать... Пора прощаться с глупыми надеждами. Да. Надежды как люди. Долго не хотят умирать. Но если умрут, их не воскресить».

За неделю отчаяние утихло. Но на студию не пошла. Сидела дома. Представляла, как утраченный учитель принимает величественные позы за кафедрой. Скучала. Думала о нём, как об уже пройденном, расставание с которым неизбежно, хотя ещё не выношено.

Кончался февраль. Воскресенье было неотличимо от понедельника. Проснулась рано. От этого огорчилась. Но спать уже не могла. В окне стоял серый свет с таким мрачным выражением лица, будто вот-вот хлынет дождь. Тучи за окном грозили разгулом стихий над взбитыми плёсами. Волна за бортом. Глухо работает двигатель. Пассажиры в лакированных каютах ждут сигнала к обеду.

«Дал задание писать про теплоход. Видно летом плавал. А я думала, астры выращивал... Теплоход исцеляет от торопливости. Монотонность – родная сестра неподвижности. За деревянными ставнями каюты ленивый калейдоскоп картин. На палубах равнобедренные любовные треугольники».

Шум машины, внезапные затишья, когда, кажется, судно тонет. Размах воды, неба, растрёпанного ветром. Взгляды рыжего матроса, бездельника, непрерывно попадающего на тесных скрипучих лесенках, в тёмных узких коридорах. Заунывный вой собаки в мути раннего утра. Снова рыжий матрос. Цепкие взгляды.

Легко и непосредственно получилось второе четверостишие. В первом же слова лежали вповалку в неудобных позах и требовали уважать их боль. Разнимала, раздвигала, пока они не расползлись на два четверостишья. Долго пыталась вернуть их к одному. Но вдруг оказалась от первого и увидела стих законченным.

На теплоходе

То белый, то алый сменяется бакеном
бакен.
Деревни глазеют. Барашки вдоль
борта бегут.
До ночи преследует вой безутешной
собаки,
Сидевшей у кромки воды на пустом
берегу.
В течение плавания в росчерках
русла литого
Текущие месяц и день узнавать ни
к чему.
Но рыжий матрос, отдававший
под вечер швартовы,
Слегка подмигнул и вразвалку ушёл
на корму.

Скучно кончался февраль. Отчаяние отступило, оставив уродливый рубец – смирение с неизбежностью. Большов был понят и прощён, но уже без обязательства быть учителем. После двух пропусков пришла. Про теплоход не вспоминали. Проплыли.

Сидела хмурая. В дискуссии не встревала. Смотрела, как Большов поглаживает пальцем обретенные губы, обводит однообразным рассеянным движением.

Вдруг забылся, прижал подбородок к груди. Сразу стал обиженным, смешным. Спыхватился, вы-

ставил подбородок вперёд, приняв гордый вид.

«Когда голова так повернута, а подбородок выдвинут, скула и челюсть чёткие. Очень мужественный облик».

Март сохранил безразличный свет февральского понедельника. Большов вовсе перестал её замечать. В окна дуло. Заболела. Ей казалось, от обиды. После выздоровления пришла и почувствовала себя окончательно чужой. В оцепенении просидела студию, отчётливо сознавая, что пришла в последний раз. Смотрела на всё, как с того света.

Замешкалась, собираясь после занятия. Большов уже удалялся по коридору, громадный, седой, по-женски жеманно взмахивая рукой. Пиджак топорщился сзади, делая его массивную фигуру ещё нелепее.

Прежде чем навсегда уйти отсюда, остановилась перед стендом с объявлениями, бессмысленно читала наколотый на него список.

«Буздырина, Скозובה, Чебочаков... Вырастут писатели. Не вырастут. Такие фамилии заведомо отрицают всякую возможность возвыситься. Разве что Скозובה звучит с надеждой».

Большов прошёл в обратном направлении. Тревожно оглянулся.

«Как вы напуганы, Гений Сергеевич. Не бойтесь, не трону. Идите своей дорогой. Кстати, ваша фамилия тоже позволяет надеяться. Но учеников ищите себе других».

Один из слушателей остановился рядом, спросил дружелюбно:

– Чего редко ходишь?

– Так... Болела. Что было в прошлый раз?

– Рассказывал о сонетах. Звал написать сонет про оттепель.

– Ты написал?

– Нет. Не пишу стихи.

– А отрывок про теплоход написал?

– Времени не было.

– А кто-нибудь написал?

– Не помню.

Двери зала хлопали. Слушатели выходили, переговариваясь, обмениваясь рукописями. Все были довольны собой и друг другом. Все были на своём месте.

«А я всегда не на своём месте. Всегда недовольна. Собой и другими. Где я на своём месте?»

Кто-то негромко играл на пианино. Из любопытства вернулась в зал. Села поближе к дверям. Музыкальное сопровождение придавало толчее у кафедры театральность. Исполнителя не было видно за спинами. Но вдруг расступились и открыли взгляду того, кто ласкал клавиши длинными пальцами, сужающимися к концам, как у девушки.

Пальцы трепетали, а Большов был монументально неподвижен. Стул в сравнении с ним казался детским, пианино игрушечным. Но звук был настоящим. Голова чуть запрокинута, исчезли тяжёлые складки подбородка, профиль обрёл строгость. Волосы легли на жёсткие плечи пиджака. В твёрдом контуре носа, в чётких линиях губ и лба дышала отчуждённость.

Неотрывно смотрела на холёные руки. Рукава пиджака и рубашки, поддёрнутые для удобства, открывали изящные бледные запястья. Бродил-бродил пальцами по клавишам. Был другим. Неизвестным.

Снял руки. Положил на колени.

Бережно опустил крышку. Встал. Посмотрел на Оксану, словно в зале находилась она одна. И ушёл.

«Впечатление больше Большова! Реальность фантастичнее вымысла! Копая пруд, думая о будущем, разве так я представляла начало, продолжение? Он победил. Меня легко победить, восхитив мастерством. Я объяснюсь с ним. Когда я слушаю музыку, мне хочется быть счастливой!»

19. Оттепель.

«Хороший актёр убедителен. Никто не посмеет усомниться в его целостности, разобрать его на части – глаза, темперамент, ботинки, пиджак, - цинично оприходовать их и увидеть, что всё по отдельности ничего не стоит».

В первый раз после месяцев уныния и мрачных подозрений было радостно.

«В необъятном теле Большова потерялся маленький человечек. Всего боится, всё делает с оглядкой. Но играл на пианино и был сильным, уверенным в себе. Как пианино звучало! Я позавидовала ему».

Грани крыш блестели и заваливались в туманную невнятицу неба.

«Крыши под ветром погрохатывают жестью. Но услышать можно, только забравшись наверх. Где та крыша, на которую мы залезли с Вадимом? Крыша запомнилась, а дом забыт. Вадим непременно почувствует сегодняшнюю перемену во мне. Всё знает, ничего не зная. Поэтому разлука с ним не воспринимается потерей. Но слишком далеко ушёл. Не успеет вернуться».

Не испытала печали от этой мысли и произнесла её иначе, формируя из сухого остатка: «Но ты уже так далеко ушёл, что не успеешь вовремя вернуться».

Воспоминание о восхождении на крышу давно устоялось в стихе. Являлось чёрным лязгающим страхом и звоном близкого открытия. Ветер порывами, дождливая тьма, пятна света на прутах пожарной лестницы, горб чердачного окна. Чудо, что окно оказалось открытым, а чердак не заперт.

После уроков бродили втроем по городу. Вадим, как всегда, немного поодаль. Сворачивали в незнакомые переулки, заглядывали в подворотни, в чужие дворы с развороченными помойками и угрюмыми дырами подъездов. Уткнулись в тупик глухой стены с выступом и пожарной лестницей над ним.

– Залезем? – Оксана вскочила на выступ, схватилась за перекладину лестницы:

– Нет! – отказалась Роза.

– Да! – с вызовом откликнулся Вадим.

Подтянулась, перехватывая руки, встала ногами на первую ступеньку и полезла вверх. Назад пути не было. Слышала позади себя Вадима, а далеко вверху гулкий стук железа о железо. Ветер толкал злыми порывами. Край крыши обрезал ночное небо. Что-то должно было произойти. Уверенность гнала наверх.

Лязг приближался, врывался сквозь ладони в лёгкие, распирал сердце. Вскинула голову и увидела. Длинная гибкая лестница держалась на одном ослабевшем болте. Второй упор, потеряв крепёж, свободно ходил в пустоте, ударяясь о

скобу. Перекладина упруго откатнулась назад, относя восходителей в пропасть двора, и, помедлив, вернулась на место, тюкнувшись о скобу сиротливым концом.

Цепляясь за поручни, изогнутые дугой, как в бассейне, Оксана ступила на решётку, соединявшую лестницу с кривым жестяным зеркалом в блеске пойманных огней. Скот таил скольжение, готовое подхватить и со свистом спустить в ночь, подбросив на трамплине карниза.

Преодолевая оцепенение и дурноту, оторвалась от поручней и отошла подальше от края. Вадим поднялся на решётку, быстро глянул на незакреплённый устой лестницы. Шагнул на крышу. Остановился перед Оксаной.

Коричневое сырое брюхо неба, вздутое туманным свечением, подобно гигантскому воздушному шару, несло, болтая на ветру, шестиэтажную корзину с ребристой крышкой, а на ней Оксану и Вадима.

Отвёл глаза. Крыша оскалила жестяные зубы. Уверенно зашагал к чердачному окну, обходя антенны и трубы, грохоча жестью, оглушая город. Заглянул в черноту створок, замахал рукой, подзывая.

Крыша прогибалась, но не скользила. Надо было только повыше поднимать ноги и не запинаться о швы. Оксана бросила короткий взгляд за ограждение. В бездонной пропасти висела крошечная фигурка, чёрная булавка, приколовшая к темноте тусклое пятно фонаря. Роза.

Вадим ждал у окна. Спускалась за ним широкими витками по чужой неосвещённой лестнице. Хваталась руками за стены. Нащупывала нога-

ми ступени. Знала, что дома будет безутешно плакать.

Через много лет Вадим признался: «Когда лез за тобой на крышу, думал: «Долезу и там скажу ей». Но воспоминание хранило безмолвие.

«Начав безумное восхождение, мы окончательно ушли от Розы. Но были вдвоём, лишь пока поднимались, пока не ступили на жесть ската. Дальше каждый пошёл своей дорогой. По маршам подъезда спускались не мы. Любовь осталась неназванной. И хорошо. Любовь нельзя ни разглашать, ни убивать. Её надо терпеть, и когда-нибудь она уйдёт. Странно, я иду счастливая, вновь обретшая Большова, а думаю о Вадиме».

На эскалаторе навстречу ехали двое молодых. Девушка стояла на две ступени выше и прижимала к своему животу голову юноши. Его лицо было таким, что казалось, едва они доедут до верху, он сразу уйдёт на войну, и его убьют.

«Люблю влюблённых. Для влюблённых большая удача, знать, что они влюблённые. Мы с Вадимом не знали. Иначе бы стремились к тому, что хорошо кончается. Но всё, что кончается, даже если кончается хорошо, в итоге – плохо».

Дома на трюмо, среди брошенных как попало шапок и перчаток, неподвижно лежала на боку Стрекоза и пьяно улыбалась, закатив глаза. Мёртвый хвост упал поперёк телефонного справочника.

Оксана сунула нос в шерсть, вдыхая запах тёплого меха.

– Она съела мясо, приготовленное Песне! – высунулась из комнаты Женька.

– Позвони Розе, – Юра ревниво вглядывался в загадочное выраже-

ние лица, с которым жена приняла его сообщение. — Она ждёт.

— А Федя не звонил? — спросила с живым интересом.

— Федя? Нет. Кто это?

— Тоже одноклассник.

— Не помню такого.

— Тихий, не дрался, за девочками не бегал. Угрозы не представлял. Что ж ты за мясом не уследил? Разврат, — указала на Стрекозу.

Роза позвонила сама.

— Встречаемся в школе. Уже договорились. Ходили к Глебу, он согласен. Были Колька Белов, Капустин... Палкин такой толстый! Назначили последнюю субботу апреля. Федя сказал, Вадим позвонит и будет говорить со всеми.

— И опять конец апреля. Это добром не кончится.

— Что ты болтаешь? Когда же ещё? Потом праздники, лето.

Федя не звонил.

Сухопарый. Бледное лицо, хрящеватый нос с вздёрнутым кончиком. Тщательно зачёсанные назад светлые волосы. Внимательные глаза цвета битого оконного стекла.

Вадим был груб со всеми кроме Оксаны, но только Федя спускал ему грубость. Самоотверженный хранитель. Единственный посредник. Знал всё. Не смела спрашивать. При встречах ловила на себе изучающий взгляд, начинённый негласным поручением запомнить и рассказать.

За окнами висели увеличенные туманом фонари. Оттепель. Большой рассказывал о сонетах. Давал задание написать сонет на тему оттепели. Хотелось угодить. Отблагодарить за музыку. Написать об оттепели, подойти с листком,

тронуть пальцами за локоть, заглянуть в глаза со всей покорностью, на которую способна.

«Итак, Вадим подал знак. Угадал моё охлаждение на фоне общей оттепели. Мы связаны сильнее и сложнее, чем мне сегодня хотелось бы. Будет звонить и говорить. Не слышала его восемь лет. Страшно. Вся жизнь моя продиктована им, с этим нельзя не считаться. Каждый день ожидаю встречи с ним, хотя не всегда она желанна. Особенно, когда холодно, когда я в шапке, плохо выгляжу. Мне не идут ни шапка, ни платок. О! Неиспользованная строка ноября».

И снова оттепель, но теперь уже мартовская. И шапка та же. И та же озабоченность. Легко выстраивается сонет. Только дожждаться, когда все заснут. Тихонько уединиться и написать:

Не приезжай, когда зима и холод.
Мне не идут ни шапка, ни платок.

Сонет требует точной рифмы. Каток. Действительно, ходили на каток. Розу не звали. Вдвоём катались по горбатым выщербленным дорожкам. Независимые, будто каждый был сам по себе.

Давно не заливают тот каток,
Где лёд коньками острыми исколот.

Всё осталось. Восхищение, поклонение, зависимость, необъяснимое противостояние. Попытка проникнуть за броню недоверия обернётся неудачей, усугубит тоску. Чёрные следы на тонком слабом снегу. Отмокшие пятна луж. Томительная встреча приведёт к очеред-

лась и закрывалась с характерным звуком, будто в отдалении тонко ржала лошадь.

Чувствовал себя в ловушке. Бессмысленно передвигал по полированному столу несколько листов, скреплённых канцелярской скрепкой, заслоня отражения потолочных ламп. Дверь заржала в последний раз. Остались одни. Стучало сердце. Стучала за окном капель.

«Нет, это у молодых прыгает сердце, а у пожилых скачет давление. Так она определила в своём невозможном рассказе».

– Гений Сергеевич, хочу с вами поговорить, – произнесла оттуда, не вставая.

– Да, да, Оксана, – загородился рукой, потирал пальцами переносицу.

– Только не знаю, о чём. Всё бесполезно. Вы безнадежны...

Откинулся на спинку стула, картинно стиснув кулаки и прижав подбородок к груди. Поза выражала осуждение и скорбь.

– Искала мудрого учителя, строгого судью, – проговорила, хмурясь, торопясь. – В итоге подозрительность, недомолвки, неопределённость. Где я сделала промах? Положим, знаю, где. Переоценила. Недоценила. Но что теперь делать? Не к кому обратиться. Один вы. И полное непонимание.

Свет падал ей на волосы, лицо было в тени, освещённые кисти рук горели.

– Мы прекрасно сотрудничаем. Я доволен. Вы хорошо работаете на студии.

Выдержал её взгляд. Подвинул к себе бумаги, блуждал глазами по

строчкам. Отодвинул листы, сцепил руки в замок. Смотрел на неё спокойно, выжидаяще.

– А я не довольна. Я хочу большего. Я могу больше! Много больше. Я сделала глупость. Отдала вам рассказ. Вы превратно его поняли...

– Какой рассказ? – очень натурально удивился.

– Гений Сергеевич! В вашей последовательности угадывается влияние сильной страсти. Любовь или зависть?

Встал, резко отодвинув кресло. Прошёлся вдоль стола, сохраняя значительный вид:

– Вы слишком самоуверенны. Оксана.

Имя произнёс громко и отчётливо. Наступил обеими руками на стол, выдвинув плечи.

Отвернулась, сжав губы. Явила неожиданно волевой профиль.

И вдруг просветлела, вглядываясь тигровыми глазами в его затенённое лицо:

– Самый лучший учитель – жестокий учитель. Я благодарна вам за науку.

Осторожно промолчал.

Оценил напряжённость сцены. Резкое освещение, не то, что в зале. Лаконизм обстановки. Сырой ветер за тёмными окнами. Оценил силу диалога, где каждый убедителен и настойчиво стремится к цели. А цели противоположны. Захотелось обыграть, покорить сердечностью, участием. И ни в чём не сознаться.

Заговорил доверительно:

– Вы не правы, когда разговариваете с позиций сурового обличия

теля. Никому, тем более писателю, не следует быть столь категоричным, - провёл ладонями по лицу, сложил их, упираясь подбородком в оттопыренные большие пальцы, а указательными тербя кончик носа.

- Гений Сергеевич! Не честно.

Ушёл к окну, распахнул высокие створки.

Тугой ветер упёрся в грудь жатыми занавесками, хватая за лацканы расстёгнутого пиджака. Занавески хлопали. Люди молчали. Люди молчали, а занавески болтали, заполняли паузу. Эта сцена тоже была сильной. Закрыв окно, обстоятельно задвинул шпингалеты.

- Как вы понимаете слово «честно»? - вернулся за стол, зафиксировал поворот головы, вскинутые брови, ровную голубизну взгляда.

- Искренне! В творчестве я честна. Поэтому мне так трудно.

- И никогда не лукавите?

- В творчестве никогда. Для вражья есть жизнь, где я цинична и продажна настолько, насколько требует ситуация.

Вытянул руки вперёд, смыкая ладони.

Поднял глаза и подивился взгляду, брошенному ею на задравшиеся манжеты его рубашки. Удивился нежному выражению, мелькнувшему в её лице. С таким лицом дети слушают сказки. Не понял. Убрал руки.

Расстегнул портфель, начал складывать бумаги:

- Уже поздно. Давайте встретимся ещё раз и спокойно всё обсудим.

- Нет, мы ни о чём не договорились. Если я уйду, то больше не поймаю вас, такой вы ускользающий. Извините, но мне до смерти жалко пропавший рассказ!

Позолоченные лампой волосы, коса на плече. Захотелось взять косу на ладонь и взвесить. Смягчился.

- Возможно, ваш рассказ действительно у меня. Я посмотрю дома.

- Пожалуйста, поищите, - произнесла просяще, поднялась, взяла в руки сумочку.

Но вдруг ткнула сумочку на место. Подошла к столу. Прямой свет сверху спрятал в тень её глаза.

Склонился к раскрытому портфелю. Снова глянул вверх:

- Всё, Оксана. Пора.

Опасливо смотрел в темноту глазниц. Испытывал неловкость и одновременно запоминал фразу в записную книжку: «Для высокого человека смотреть на кого-то снизу вверх - тяжёлое испытание».

Быстро обошла его, положила ладони ему на плечи. Склонилась к нему, щекоча волосами щёку:

- Вы боитесь меня. Зря.

Озноб ужаса пробежал по хребту. Большой стиснул руки от напряжения. Перестал понимать. Она тихонько ворковала на плече, не позволяя встать:

- Вы мне принадлежите, а ко всему, что мне принадлежит, я отношусь очень бережно.

Хотел возразить, но не посмел. Впал в оцепенение, сходное с оцепенением жертвы перед готовым пожать её хищником. Нет, был ма-

монтом, замороженным во льды ментально наступившего ледникового периода.

Обвила руками. Шептала. Ухо мамонта оттаивало от горячего дыхания:

– Вы слабы, вероломны. Классический злодей. С быстрой щедрой улыбкой, с ясными глазами, с тёмными замыслами. На словах доброжелательный, услужливый. На деле уклончивый, опасный.

– Отпустите. Что вы делаете? – промямлил жалобно и застыдил-ся глупых слов, глупой интонации.

Рассмеялась. Но рук не отнимала.

– Ответьте на один единственный вопрос.

– Какой вопрос? Оксана, вдруг кто-то войдёт!

Попытался высвободиться, но она только крепче перехватила руки. Взглянула ему в лицо снизу из полированного стола, сказала строго:

– Почему вы сбрили бороду?

Затрясся от неслышного смеха. И она тоже звонко смеялась над ухом. Обнимал, прижимал к себе золотую голову, захватывая на ощупь. Наматывал косу на руку, притягивал к себе. Наконец, с усилием выдавил:

– Тина, нельзя забывать, Пётр Иванович пожилой человек.

– Но красивые же губы! – указала на его отражение в столе. – Вы ведь хотели предстать передо мной обнажённым до такой степени?

– Хотел.

– Гений Сергеевич. А я обыграла вас! – отклонилась, заглядывая сбоку. – Осторожного и предусмотрительного. Обыграла в честной

схватке. Но не обманула, – отпустила его, отступила. – Не знаю, за что я люблю вас?

Ответил быстро, убеждённо:

– А я ненавижу вас! – поднялся, выпрямился во весь рост, возвращая себе преимущество. – Но ненависть сближает, как и любовь.

Взяла его руку, словно хотела прощупать пульс.

– Сейчас вы такой, каким были у пианино. С бледными запястьями. Люблю вас такого.

– Хотел бы вас любить, но не могу. Непрерывно злюсь.

Отодвинул в сторону стул с портфелем, как последнюю преграду. Потянул Оксану к себе, свёл руки у неё за спиной. И нащупал косу. Приподнял на ладони, удивляясь весу волос.

– Утром на сквере гуляла белка. Мне казалось, коса лёгкая, как беличий хвост. А она имеет тяжесть.

Положила руки ему на грудь. Положила на руки голову.

– Не только коса, я вообще тяжёлая, лёгкая только на вид... У меня тяжёлый характер.

21. По бульвару.

– Начинаешь доверять погоде, значит, лето. Перестаёшь доверять погоде, значит, зима, – заговорила, преодолевая недоумённое молчание, в котором они с Большовым вышли из дома с башнями. – Сегодня зима закончилась. Можно ходить без шапки.

У подножий лип в длинной песчаной выемке, усыпанной старыми листьями, лежал белый последний сугроб. На боку, подогнув ноги, подняв могучую голову, будто Зевс в облике быка. Светился в луче фо-

наря. У фонаря не было столба. Он оказался лунной. Отовсюду доносилась дробь невидимой капли. Большой молчал. Посмотрела на него искоса:

– Я напишу про музыкальность капли, но оттеню красоту чем-нибудь конкретно-осязаемым. Например, когда ветер дует сильнее, капля отклоняется и падает на лежащий в луже треснувший пластиковый стакан, отчего звук становится глухим и дребезжащим.

– А я, признаться, склонен выбирать изысканное. Питаю страсть к старым словам, к старым вещам, чьи суть и облик тронуло благородное разрушение. Это болезненно и странно возбуждает серое вещество, – смотрел прищуренными прозрачными глазами.

– *Боже мой!* – *окинула его восхищённым взглядом.* – *Невозможно поверить. Вы в полном моём распоряжении. Даже не знаю, с чего начать! Обнимать вас или пускаться в сложные разговоры, столь же жизненно важные, как и объятия.*

– Оксана, вы даже не подозреваете ещё, сколько надо трудиться, сколько надо прочесть, чтобы самостоятельно написать хоть одну законченную фразу.

Улыбалась. Качала головой:

– Я говорю правду только тем, кого уважаю. Я не согласна с вами.

– Но посмотрите, как блестят в тумане мокрые ветки, словно взбитые напудренные волосы. Я ценитель изящного. Предпочитаю искусство эпох далёких, выделанных веками, чеканных.

– А я люблю настоящее, – упрямылась весело. – Жизнеутверждаю-

щие мотивы. Смешение возвышенного и низменного.

– Хочу привязать ваше внимание к вещам, научить видеть их возраст, характер.

– Но нельзя людей, их отношения, их лица описывать как вещи! Не выношу, если вещи важнее людей. Описать вещь всегда легче, чем человеческие чувства... еле уловимые импульсы настроения, которые ещё невозможно объяснить.

– *Нет, есть чудесные слова. Мезонин... Флигелёк... Сколько в них несказанного, – поддразнивал Большой.*

– *Вещь не чувствует, – смотрела снизу вверх. – Вещи только служат, дают на них сесть, швырнуть их, положить на них взгляд.*

Невидимые лужи подстерегали в неосвещённой аллее. Взял Оксану под руку. Осторожно пошли дальше.

– Я ехал на электричке и разглядывал окно, возле которого сидел. Сколько удивительных деталей и штрихов открылось мне.

– А я могу написать замечательную страницу о пылающей в тумане букве метро, к которой вы стремитесь, надеясь избавиться от моей вредной категоричности. В предмете, как и в человеке, бессмысленно перечислять все черты, достаточно указать на особенное. А особенное в знаке метро – ваш длинный взгляд, которым вы опираетесь на него.

Мокрые ветки деревьев в конце бульвара ловили цветные огни торговых палаток. Луна затерялась в чередке уличных фонарей.

– *У меня есть газета. Посидим на лавке? – предложил Большой со-*

всем неожиданно. Артистическим движением расстелил газету, усадил Оксану, сел рядом. - Дуфманящий запах. Фиалковая апрельская луна с её таинственным свечением. Изысканно. А вам не нравится.

- Мне это кажется приторным. Ни в чём с вами не согласна. Но своё писательское кредо выработала в полемике с вами.

- И чему теперь я могу вас научить? - заглянул ей в лицо.

- Наверное, ничему, чему нужно учить. Но есть нечто, чему вы не учите, а я беру от вас именно это. Чутьё.

- Этому научить невозможно.

- Да. Я не научусь у вас тому, чему вы учите. Но сумею ловко украсить у вас то, чему нельзя научить. Гений Сергеевич, не обижайтесь. Не люблю в вас писателя. Он заслоняет в вас тонкого музыканта...

...Я уверовала в вас, когда увидела играющим на пианино. Игратьте! Буду служить вам, буду у вас на посылках.

- Золотая рыбка, - гладил по влажным от тумана волосам. - Вы любите музыку? Играете?

- Люблю слушать. Но когда занимаю место в зале, не слушаю, а думаю о своём. Не знаю, когда надо хлопать, но точно знаю, когда хлопать не надо.

- Расскажите о себе. Хоть чуть-чуть.

- Ну... По-человечески я порывиста во вред мнению обо мне, и глупа. Глупа, и не могу скрыть свою глупость. Умна, и не могу скрыть свой ум. Но меня считают умной. Значит, ум скрывать труднее, чем глупость.

- Вы ничего не рассказали.

- Разные люди знают обо мне разное.

- А что знаю я?

- Самое главное. Кто я, знают только те, кто меня не знает.

- Поэтому я не знаю ничего. Вы говорите афоризмами. Это ваша удивительная особенность. Я её ценю как литератор, как педагог. Но сейчас хочу простого бесхитростного рассказа. Кто вы? Откуда вы взялись? Если бы вы шли обычным путём, я бы знал о вас.

- Да, у меня есть прошлое, но я не вполне уверена, что всё оно моё.

- Ваша проза интересна, индивидуальна. Она не может возникнуть ниоткуда.

- Правда, я не прозаик. Ко мне всякое впечатление приходит ритмизованной строкой. Стихи моя стихия. Прозой пересказываю стихи.

- Вы говорите странные вещи, - смотрел тёмными глазами.

- Если бы вы меня встретили раньше, вы бы не догадались, что это я. Самое стабильное во мне - обыватель. Сейчас вам интересно узнать о нём. Замужем, двое детей, учёная степень, хорошая служба. А мне страстно хочется рассказать вам, как заскорузлый обыватель вдруг стал писателем. Вдруг... А вы бы расшифровали мои речи и рассказали мне обо мне.

Сквозь ветки деревьев светилось коричневое небо. На нём чёрной жабой расплывалось облако. Неслышный дождь сыпал на лицо мокрую пыль.

Повернулась к Большову. Притянул её к себе. Улыбались друг дру-

гу. Обвела пальцами его брови, взглядываясь в длинные глаза.

– Почему она Тина? – сжал руками её плечи.

– Валентина. Но Пётр Иванович искал в женщине русалку.

Деревья дрогнули. Вскочила, стряхивая с волос холодные капли.

– Поздно. Загулялась с вами, учитель. Из-за меня у вас не выполнен дневной план страничек.

– Безжалостны. Смеётесь надо мной. Но всё ещё впереди, ночное время самое плодотворное.

– А я пишу в любое время. Бесплодно только время суеты.

Ветер и свет фонарей. Вплотную пролетели блестящие машины, сорвавшиеся со светофора. На асфальте застыли длинные извивающиеся потёки вара, залившего щели. Красный свет отражался в глянцевых ручьях, словно по мостовой змеилась кровь. Большов взял Оксану за руку:

– Приезжайте летом ко мне на дачу. Позвоните и приезжайте. Почитаете свои стихи.

– Спасибо за приглашение. Наверное, приеду. Обязательно приеду!

– Кстати! У вас на даче есть астры?

– Есть. Люблю астры.

– Старый дом, заросший участок, астры. Вы над астрами в синей рубашке с коротким рукавом. Сильные руки, выполняющие ювелирную работу.

Мрак бульвара поглотил аллею, лишь один персонаж на крайней скамейке был ярко освещён. Бомж пристрасно рассматривал роскошную, шитую золотом драную туф-

лю, близко поднося к глазам, что-то выковыривая из глубин. Босая нога с засученной штаниной была распухшей, коричневой, покрытой струпьями.

– Восток. Золотое шитьё по шёлку, – восхитился Большов.

– Принимаю, но только вместе с коричневой ногой.

С укором покачал головой. Впереди на тонкой металлической опоре обсосанным леденцом плыла буква метро. Ушли под неё по блестящим ступеням.

Станция была пуста. Ждали поезда одни.

– Я так и не знаю, кто вы. Ничего не узнал.

– И я ничего не узнала. Ни о чём не спросила.

Поезд заглушил слова. Вошла в вагон, отпуская руку Большова, оставшегося на перроне. Вдруг опомнилась:

– Да! Скажите мне... это очень важно...

– До свидания! – Большов отступил от вагона.

– До свиданья...

Двери гильотинировали прощание. Поезд ушёл в тоннель, положив под стекло отражение круглого лица в обрамлении волнистых волос.

«Гений Сергеевич. Забыла. Не успела спросить. Есть события, которые я переживаю, проживаю, лишь написав. Более того, я уже не знаю, что происходит раньше – пишу о том, что делаю, или делаю то, о чём пишу? Гений Сергеевич! Если написать роман... Вы ведь написали роман. Скажите... Вдруг он исчерпает собой отношения с дорогим человеком? Охладит до смерти?!»

4 ЧАСТЬ. КАРТИНКИ И СТИШКИ

22. Одноклассники.

«Очень трудно находясь на сцене оставаться зрителем».

Коса обязательно. Брюки чёрные. Губы розовые. Волшебный ветер подхватил и нёс розовую принцессу, гоня стрелки часов в обратном направлении. Прошлое стало настоящим, вытеснив настоящее в будущее. Институт, Юра, диссертация, Женька, Юрок – всё улетучилось, растворилось бесследно. Школа припала любовно, обнимая стенами. Шутя, подталкивала облупленными дверями на пружинах.

– Это Оксана!

– Здравствуй, Оксана!

– Оксана!

Множественно. Радостно. Имя вознеслось на этажи по гулкой лестнице. Этажи признали, откликнулись:

– Она!

Лучилась безмолвным ответом всем сразу.

– Ты такая же красивая, как раньше, – Федя церемонно поцеловал руку.

– Раньше я не была красивой. Значит, не такая же.

– Нет, такая же, – встрял Палкин. – Я точно помню, была коса, а ты была красивая, а я ухаживал за тобой.

– Подарил мне беленькие цветочки в день отъезда из лагеря, сам собрал их утром, – ласково смотрела на довольного Палкина. – А кого мы ждём?

– Только Розу. Вадим будет звонить, – Федя смотрел глазами Вадима.

– Да, – отразила взгляд улыбкой.

– Только из-за тебя, – грустно сказал улыбке.

Пружина входной двери со звоном соскочила с крюка, заиграла в воздухе. Створка с грохотом ударилась о стену.

– Роза, ты смерч какой-то! – Палкин поймал дверь.

– А ты тот ещё баклан! Мог бы поздороваться сначала. Чего вы здесь топчетесь, когда надо идти к Глебу? Там уже всё готово! – Роза первая устремила к лестнице.

Глеб забегал, приветствуя, пожимая руки. Оксану расцеловал:

– Наташенька! Какая ты красивенькая, оставайся такой всегда, на тебя так приятно смотреть!

– Глеб Алексеевич, это же Оксана!

– Ой, Оксаночка! Извини, перепутал. Вчера Наташа Сумина... она не придёт, и я... – суетливо оправдывался, прикасаясь к плечу. – Вадим сюда будет звонить. У вас ведь была любовь?

Улыбалась в ответ. До смерти боялась не удержать улыбку умиротворения и обнаружить правду настоящего.

– Какого тебе вина? – Федя сел рядом.

– Любого, которое считаешь достойным меня.

– Здесь нет вина, достойного тебя.

– Пусть кто-нибудь скажет! – воскликнула Роза. – Глеб Алексеевич, скажите вы, как старший, который помнит нас другими.

Глеб поднялся с ужимками, будто хотел признаться по секрету. Взял стакан двумя руками. Собираясь с мыслями, шевелил над ним щёткой усов.

– Ваш класс был моим лучшим

выпуском. А те, кто сегодня пришёл сюда, – лучшие из лучших. Вас объединяет не только добрая память о школьном времени, но и живая дружба. Я рад, что вы приняли меня в свой круг. И всегда рад вашему приходу.

Люстра на большой высоте не вытягивала углы и стены. Только под ней оставался светлый круг. Тот же костёр. Те же лица.

– Хочу продолжить тост нашего директора, – вскочила Роза. – Ещё в школе мы оценили значительность дружбы. Да. И каждый заботливо сохранил фотографии, письма, которые писали друг другу...

– Точно! – перебил Палкин. – Когда я служил, Оксана писала мне письма. Я их храню.

– Мне Оксана тоже писала! – выступил Колька Беляев. – Нечего хвастаться, не тебе одному! Правда, Оксана?

– Я всем писала. Мне всех было жалко. И Капустину писала, и Вадиму. Но отвечал мне только Палкин.

– Дайте договорить! – возмутилась Роза. – Закончу, будете любезничать. Я хочу спросить, почему мы уже тогда знали, как важна для нас эта дружба? Какие были предзнаменования? Каковы, наконец, перспективы? Ради чего всё это вышло?

– Ты торопишься, – Оксана от чего-то встревожилась и поспешила увести разговор в сторону. – Подведём итоги позже. Федя, как наиболее объективно мыслящий, набросает картину причин и следствий, необходимостей и случайностей.

– Надо чаще встречаться, мне нужен материал для обобщения, – объявил Федя. – За это можно выпить.

– Поддерживаю! – Палкин поднял бокал. – За дамами не ухаживаешь, у Оксаны не налито.

– Я быстро пью!

Украдкой разглядывала кабинет, отмечая, в какие загадочные формы объединяются случайные предметы, совершенно безликие, если не начать их рассматривать пристально и оценивать в соседстве с другими.

На стенах висели в живописном беспорядке плечики на гвозде, жидкий цветок в кашпо, карта центра города, календарь с огромным автомобилем, кашпо без цветка, но со вставленными в него засохшими соевыми ветками, большое фото – рябиновая гроздь в снегу, календарь – грузовик с прицепом, и в кузове, и в прицепе большущие деревянные ящики.

– Да... Мы встретились, мы вместе, – Федя близко заблестел глазами. – А Вадим... Одиночество давит.

– Тяжело уехать. Непростой шаг. А вернуться ещё труднее, – отвечала, обдумывая каждое слово.

– Никак не проходит. Всё по-прежнему, – покачал головой, заглядывая в глаза.

– По-прежнему? Это хорошо. Мы встречаемся, чтобы убедиться в том, что всё по-прежнему. Но ведь он не один, с женой? – закивала Глебу, который поднял бокал, показывая, что пьет за неё.

– Да. И тем не менее. Вадим сильно переживает. Он относится к тебе так же, как и раньше. Помнит твою походку, жест, которым ты поправляешь волосы, даже как говоришь.

– Это Вадим так сказал?

Имя. Вслух произнесла имя. Испугалась звучания.

– Чувства не отпускают. Он может написать тебе?

– Конечно. Он посвящает тебя в свои личные дела?

– Так ведь наболело... Но от меня мало что зависит.

Палкин увёл танцевать. Обнимал. Смотрел такими глазами. Захотелось сбежать. Пригласил Беляев, держал на отлёте, долго рассказывал о юношеской любви. Не разуверяла, светло улыбалась. Поцеловал. Встревоженно оглянулась на Федю, но его уже не было на месте. Роза попросила ещё раз поцеловаться для фотографии. Глеб, оттесняя разошедшегося Кольку, взял за локоть:

– А знаешь, Оксаночка. Я помню, один раз увидел, как вы с Вадимом вдвоём стояли у окна. Уже перемена кончилась, все разошлись по классам. А вы остались одни. Апрель был. Как сейчас. Я тогда вам ничего не посмел сказать, пробежал на цыпочках в класс.

Ухнуло сердце. Лицо отказалось служить. Вскинула руку ко лбу, прячась под ней. Глеб слово в слово пересказал её собственное воспоминание.

В конце коридора распахнутое пыльное окно. Коридор особенно чёрный из-за окна, сияющего солнечной путаницей веток громадного тополя. Ветки ещё без листьев, но уже сухие, тёплые. В них воробей.

Во все глаза следили за воробьём. Боялись смотреть друг на друга. А воробей, охмелев от тополиного духа, прыгал, прыгал боком, всплёскивая крыльшками, и вдруг запутался в хитросплетении веток, забарахтался, стал падать. Однако сумел уцепиться и сел, как ни в чём не бывало.

Расхохотались, такой смущённый был вид у воробья. Взглянули друг на друга. И ушли в класс.

Не знала о свидетеле. Глеб внезапно и щедро подарил аленький цветочек. Подтвердил действительность события. Он уже теребил за плечо, разворачивая к дверям, в которые входил кто-то из старых педагогов.

– Зайди к нам, Михалыч. Ребята навестили. Вот Оксаночка. А это Толя Палкин, там Капустин, помнишь, как он цветы ел на последней парте? Это Беляев... девочки... мальчики...

Опомнилась. Сердце ухало, но лицо уже служило.

– А, Оксана! Та девочка, которая дружила с Вадимом? Предлагаю тост за дам!

Увидела из-за щуплого плеча Глеба, как ребята подхватили пьяного Федю, увели его в угол, уложили на составленные стулья. Хрящеватый и серый, он лежал на спине, свесив до пола тонкую руку, далеко высунувшуюся из рукава смятого пиджака. Голова запрокинута, рот полуоткрыт. На шее острый кадык. Маленький подбородок, выступ нижней губы, верхней губы, носа, надбровья, выступ волос на лбу... Казалось, лицо состоит из кадыков. Вдруг почувствовала себя свободной.

– Телефон! – Роза, подняла указательный палец. – Это Вадим. Глеб Алексеевич! Начинайте. Вы хозяин.

Глеб подбежал трусцой, схватил трубку:

– Алё? – поднял глаза к потолку.

Все затихли, прислушиваясь. Чувствовала на себе быстрые заинтересованные взгляды. Все ждали её разговора с Вадимом. Будто что-то должно было решиться.

«Ничего не решится. Смысл и тайный итог его шального звонка в

том, что каждый из нас услышит голос другого. Слова же непременно всё испортят. Но я должна произнести хоть какие-нибудь».

– Да, да! Вадим? Очень рад, очень рад. Хорошо. Что? Да. Здесь. Все. Рвут трубку из рук. Привет! – протараторил Глеб и уже спрашивал глазами, кто следующий?

Трубку захватил Палкин. После него говорил Беляев. Выстроилась весёлая очередь. Толкались, фотографировались, шикая друг на друга и прыская. Капустин говорил очень искренне, по-доброму. Роза благодарила за песни у костра. Оксана испугалась остаться последней. Подошла к Розе, решившись говорить после неё.

– Пьяный и матерится, – шепнула Роза, передавая трубку.

– Вадим? Здравствуй, – противно стерильно.

– Здравствуй, ангел мой. Ну, как ты живёшь?

Голос хрипловатый, с запинками на шипящих. Речь ровная. Нисколько не пьян. Ангел поразил до онемения. Обречённо ответила под взглядами внимательных глаз:

– Хорошо...

– Ну, это слишком мало.

Что же сказать, чтобы не обидеть и в то же время не сказать ничего? Ведь нечего сказать через столько лет! Молчала. Подождал, сказал:

– Говорят, ты всем помогаешь.

– Они преувеличивают, – засмеялась.

– А я слышал, что так.

– Преувеличивают, преувеличивают.

– Ну, расскажи что-нибудь. Как ты? – попросил устало.

– Работы много... – была в отчаянии.

Вадим молчал. Молчание длилось. Она молчала.

– Желаю тебе всего... – сказал, наконец. – Ну, до свидания...

– До свидания... – откликнулась эхом и уронила трубку в чьи-то руки.

– Ну, что, матерился? – ревниво спросила Роза.

Отрицательно покачала головой, скрывая за безмятежной улыбкой слёзы, застилающие глаза. Села к столу, оттуда дослушивала сеанс связи. Неустойчивый Федя последним взял трубку и на удивление складно, в изысканных выражениях распрощался с Вадимом за всех. Вернулся на своё место рядом с Оксаной. Сказала ему, с усилием выдержав ровный голос:

– А ведь он хорошо придумал.

– Только из-за тебя, – пахнул перегаром.

Все говорили ей сегодня о своих чувствах к ней, и только Федя говорил о Вадиме. В порыве благодарности повернулась к нему:

– Спасибо тебе. Скажи, когда ему тоскливее? Когда он пьян или когда трезв?

– Всегда.

– Оксаночка... ты же ещё... не уходишь? Я тебя провожу, – Палкин опасно покачнулся над головой.

– Закусывай, закусывай, – подговаривал Капустин, протягивая бутерброд.

Федя поднялся, увёл Палкина. Роза села на его место:

– Я совсем пьяная.

– Я тоже. Надо уходить, а то действительно, пойдет провожать.

– Выпьем за нас с тобой и уйдём незаметно, – Роза налила в бокалы из ближайшей бутылки. – Не помню, который бокал мой. Пусть парни здесь убирают. Их много.

– За нашу с тобой дружбу внутри общей дружбы, – подтвердила Оксана.

– Знаешь, я, наконец, избавилась от чувства... что я была виновницей вашего с Вадимом разрыва, – Роза глянула с вызовом. – Я знала, ты не простила мне. Ты сама говорила, как он рассказал, что в школе не признался тебе в любви из-за моей любви к нему. Не хотел разрушить нашу дружбу. Поэтому расстался с тобой.

– Говорил. Но я никогда не считала тебя виновной.

– Нет! Считала. Я это чувствовала, не спорь, – возразила убеждённо. – Он сказал тебе, и ты стала ко мне иначе относиться. Хотя ты, может, и сама не сознавала.

– Да нет! Я вообще никого... даже его и меня не считала виновными. Я считала, что не могло быть иначе. Да и теперь не может быть иначе.

– Нет, нет, – упрямылась Роза, – Но сегодня я освободилась от чувства вины.

– Потому что матерился?

– И поэтому тоже.

Спускалась за Розой по лестнице с неудобным ощущением человека, несправедливо обвинённого и не способного оправдаться. Встретили Глеба, идущего навстречу.

– До свидания, Глеб Алексеевич! Спасибо вам за гостеприимство. Ребята уберутся.

– До свидания, миленькие мои. Всегда будь такой хорошенькой, красивенькой, – потянулся к Оксане, чмокнул в щёку.

«Негде ставить клеймо. Зацелована, измята».

Фонари, уложенные в туман, как новогодние шары в тонкую искрис-

тую вату, ничего не освещали, но отражались в мокром асфальте. По отражениям угадывалась дорога.

– Глеб всегда был к тебе неравнодушен. Всегда. И в школе. И вообще все были к тебе неравнодушны. И вообще, ты была... Героиня! – неожиданно пылко призналась Роза. – Романтическая и возвышенная. К тебе никто не смел подступиться. А все были восхищены... И Вадим был влюблен, и у Палкина такие трогательные воспоминания, и Беляев... Ведь не зря.

– Может быть. Но тогда всё было за кадром, – посмотрела на Розу и не увидела выражения её лица. – Тогда никто не догадывался, что я Героиня. И я сама не догадывалась. Если бы это было так очевидно, я бы сумела воспользоваться, а другие сумели бы ярче проявить свои чувства. Что-то носилось в воздухе, всем крайне необходимое, а я несла это в себе, сама того не ведая.

– Знаешь... – Роза пристально взглянула и промолчала, колеблясь.

Прошли под следующим фонарём, тусклые тени выбежали вперёд. Роза заговорила, следя за растущими тенями:

– Я призналась Вадиму в любви, а он сказал: «Ничего не выйдет. Я люблю другого человека». Я была уверена, он говорит о своей необыкновенной возлюбленной, отрываясь от которой, снисходит к дружбе с нами. Помнишь, как мы робели перед его таинственной блондинкой? Помнишь девушку на картине? А, оказывается, он говорил о тебе.

– Самый лучший мальчик класса, самый талантливый и волевой выбрал меня. Выбрал не за красоту, не за умение дружить, а за другое, чего

и сам не мог назвать. Ждал разгадки от меня. А я ничем не могла подтвердить, что я действительно самая лучшая девочка класса.

Роза на удивление деликатно промолчала. Дошли до метро. Разъехались примирённые, тихие.

«Героиня. Всеобщий простибельный самообман. От меня сегодняшней отламывают кусочки и забрасывают в прошлое. Но там, в прошлом, лишь начиналось нечто, откровенно сегодня здесь. Раньше никто ничего не понимал. Я была просто одноклассницей».

«Только из-за тебя» – сказал Федя... Я отвечу также. «Только из-за Вадима я стала Героиней. Только из-за него я сегодня такая». Только Вадим видел во мне романтическую и смелую Героиню. Иначе невозможно объяснить его любовь ко мне. Или хотел увидеть меня Героиней, и я стала ею ради него. У меня дух захватывает, когда его имя произносят рядом с моим».

Разволновалась, вздыхая, качая головой. Заметила любопытные взгляды попутчиков, отвернулась, нетерпеливо ожидая своей станции.

«Наша любовь ни для кого не была секретом, лишь мы двое искали других доказательств. И не нашли. Немыслимой казалась такая простота. Он сказал мне: «Здравствуй, ангел мой». Он сказал мне: «Здравствуй, ангел мой». Он сказал мне здравствуй ангел мой!»

Заплакала горько, безудержно, от жалости к себе, к нему.

«Вадим уехал восемь лет назад. Сегодня я впервые снова услышала его. Если он придет и позовет меня этим голосом, я выпрыгну к нему из окна».

Ночная улица была нескончае-

мым дворцовым залом. Ровные стены с симметрично развешанными светильниками, чёрные окна. Шла по залу одна и рыдала громко, выкрикивая с надрывом:

– Он сказал мне: «Здравствуй, ангел мой!» Он сказал мне: «Здравствуй, ангел мой!» Он! Сказал! Мне!

23. Спящая красавица.

«От любви нельзя защищаться. Она безжалостна к трусливым!»

Ночью текли безмолвные слёзы. Юра тихо дышал рядом. Но чуткая Песня вставала со своего места и подходила. Обнюхивала заплаканное лицо, трогала холодным носом, возвращалась к себе. Слёзы оставались, когда являлись мысли.

«Больно, больно. Но из боли получится стих. Куча отчаянных стихов. Боль уйдёт в них, и я освобожусь. И ему больно. А он всегда бежал всего, терзающего душу. Сегодня запрётся в мастерской и напьётся в одиночку. Будет мычать от тоски, уронив голову на руки, смахивая на пол листы, кисти, карандаши...»

Но едва всплывал «ангел мой», мысли сбивались, и текли безмолвные слёзы. Опять подходила страдающая Песня и уходила, понуро свесив уши. Слёзы угасали, и текли мысли.

«Вадим! Я боюсь только одного – утратить тебя. Ты тот единственный человек, который всегда может вернуться, сколько бы ни уходил. Оттого, что ты знаешь об этом, ты не можешь уйти навсегда».

Не было сна. Лежала в темноте. Слёзы кончились.

«Вадим. Я напишу стихи и переживу любовь. А как ты её переживёшь?»

Выбралась из постели. Ушла на кухню, прибежище тайных печалей. Смотрела в окно. Ночная улица была пустынна. Явилась Стрекоза, вспорхнула на подоконник. Смотрели на улицу вместе.

«Вадим. Сколько можно задавать один и тот же вопрос «Почему»? Почему я тебя люблю? Почему ты любишь меня? Почему мы несём друг другу несчастье?»

Исписала страницу, сочиняя ему письмо. Меняла слова, вычёркивала фразы. Остались два предложения. Успокоилась, вернулась в постель, согрелась около Юры, заснула.

На другой день позвонила Феде. Его не было. Точила забота непременно передать ночные слова Вадиму. Через день опять звонила. Безрезультатно. Усомнилась в необходимости ответа. Но ещё верила себе трёхдневной давности, плакавшей в пустом дворцовом зале среди расплывшихся фонарей. Если тогда слова эти казались важными, их надо передать.

– Федя? Наконец-то. Это Оксана.

– Здравствуй, – выжидательно замолчал.

– Ты будешь писать Вадиму о встрече? Ещё не отправил письмо?

– Пока не отправил. У Розы не готовы фотографии.

– Запиши пару слов от меня.

– Да, записываю.

Отчуждённо продиктовала:

– Передай Вадиму, что я в долгу у него. И если я ему нужна, я сделаю для него всё, что в моей власти.

Положила трубку расстроенная. Мучило ощущение ошибки. Но в продиктованных предложениях не находила изъяна. Они были честны,

вняты и даже ставили её в невыгодную зависимость от его желаний.

Заболела Женька. Жаловался на кашель хитрый Юрок. Взяла больничный, стала серой, затрапезной. Думала о Вадиме непрестанно, но уже с отрезвляющим холодком.

«Потусторонний он требует от меня молодости. Но восемь лет не могли не отразиться на мне. Нельзя верить невольной лести одноклассников. Мы часто встречаемся и не замечаем перемен».

Сидела с синей лампой около Женьки, грела ей нос и вдруг поняла смысл и значение своего ответа Вадиму. Это был ответ королевы. Снежной королевы. Щедрый, лаконичный, холодный.

«Да. Я оледенела в ожидании его возвращения. Время остановилось. Снежная королева. Нет. Не Снежная королева и не розовая принцесса, уносимая волшебным ветром. Я Спящая красавица! Как быстро и бесповоротно нагрянет старость, едва я проснусь от поцелуя. Встреча в школе напрасно отогрела меня. Снова будет тянуться утомительная молодость. Плохо, что всё осталось по-прежнему. Пора, наконец, стареть».

Сидела дома. Оставалась в пространстве муторного сна. Не могла очнуться. Но однажды вышла на улицу. И оторопела. Май махал новой листвой. Протянула руку. Правда, клейкие! Вестники настоящего!

«Вадим всегда в прошлом. Он тянет меня назад за невидимые, но очень крепкие нити. Он ничего не обещает. Он весь в апреле, в мутных фонарях. Но апрель кончился».

«Я держу в руке липкие листья мая. Май – это настоящее. Это

*Большов. Он знает меня только се-
годняшнюю. И такую любит. Оче-
щает понимание в сокровенном.
Обещает астры на старой даче.
Большов обещает!* »

Вернулась домой. Распахнула
балконы и форточки. Спрятала ста-
рые телефонные книжки. Открыла
новую на букве «Б».

«Любовь нельзя понять, её мож-
но только пережить. И только так
узнать. Сердце давно проложило
путь туда, куда не ступала нога».

24. Дача.

Платформа оставалась тёплой,
хотя тень деревьев уже положила на
неё прохладную ладонь. В неостыв-
шей синеве неба прозрачная луна
висела как зонд, опущенный на зем-
лю прощупать глупости здешней
жизни.

*Сразу вернулось тревожное чув-
ство зависимости. Но уже нельзя
было спастись бегством. Нервни-
чал, прикусывал за сгиб согнутый
палец, пока она шла к нему, не от-
водя взгляда.*

*Яркие губы на смуглом лице, чу-
жие к лицу. Выгоревшие волосы. Ды-
рявая вязаная безрукавка. Алая юбка,
полыхающая голубыми цветами.
Классический облик пляжного увле-
чения. Вызывающе заметна. Дёрнул-
ся навстречу, потянул с собой вело-
сипед, смутился, попятился.*

– Поедем на велосипеде? – при-
ветственно взмахнула рукой, от-
ступая от гремящих вагонов. – Не
ожидала увидеть вас на велосипеде!

*Зачем-то приподнял за руль пе-
реднее колесо и осторожно поста-
вил на место, стараясь не звякнуть
звонком.*

– Вот и вы, Оксана.

Матёрая крапива просовывала
сквозь прутья станционной ограды
узловатые метёлки, норovia цапнуть
загорелую ногу. Отодвинул гостью
в сторону. Пояснил на всякий слу-
чай:

– Крапива... Вы что-нибудь напи-
сали, привезли, прочтёте?

– Нет, – ответила через плечо,
показывая в профиль прозрачный
глаз.

– Но жалко...

– Тогда я мигом съезжу домой!
– засмеялась, заговорила радостно.

– Всё лето растения передают друг
другу запах мёда. Как эстафетную
палочку. Сейчас кульминация забе-
га. Интересно увидеть вашу дачу.
Такая ли она, какой я её представ-
ляю?

*Велосипед пришлось спускать по
ступеням на руках. Проклинал себя
за недогадливость. Шёл за алой юб-
кой и чувствовал себя конюхом, ко-
торый ведёт коня королевы, изво-
лившей спешиться.*

*Пытался разглядеть, что у неё
под майкой? Но она сбивала цели.
Поправляла косу, поводила плеча-
ми, перёдергивая дырчатую сетку и
дробную тень от неё. Зарябило в
глазах, оставил попытки. Принёс
на дачу ту же тревогу, с которой
на станции ждал прихода поезда.*

*Села на диван спиной к окнам.
Стала непроницаемой. Кипятил чай-
ник, носил чашки. Томила невнятная
обязанность совершить что-то ре-
шительное. Тербил губы пальцем,
краем глаза стерёг руку Оксаны, ле-
жащую на складках юбки.*

Недопитый чай подёрнулся цеп-
кой плёнкой. За окном раскарка-

лись вороны, будто в елях великан рвал на полосы крепкие крахмальные холсты. К карканью присоединился дальний горестный вой.

Большов поднялся, сделал шаг к окну и пожалел, что встал. Устойчивость сосредоточилась в указательном пальце, упёршемся в край стола. Глянул на Оксану. Перехватил взгляд:

– У забора готовы зацвести золотые шарфы. За ними прячутся влюблённые соседки... Поиграйте для них и для меня на пианино. Вы ведь играете, когда нет жены?

– Почему вы так думаете? – спросил уклончиво.

– Уверена, она иронизирует по поводу вашего увлечения музыкой. Её присутствие не располагает к игре.

Не придумал ответа, но, освобождённый, оттолкнулся пальцем от стола и ушёл в темноту.

Пианино жалось к перилам лестницы. Под ним громоздились коробки с книгами, привезёнными весной. Сдвинул их в угол, сел на табурет, оцупал крышку, застланную жёсткой салфеткой, заставленную ненужной мелочью, над которой возвышалась ваза с букетом засушенных цветов.

– Помогите мне освободить крышку, – позвал Оксану.

Приблизилась, накрыла рукой тусклый блик на перилах. Подал ей высокую тяжёлую вазу.

– Держите крепко. Поставьте в сторону.

Передавал мятые зачитанные книжки, каменную пепельницу, расшитые карты, перочинный нож, вытиснивший колкий штопор. Она принимала их и размещала на верх-

ней панели пианино. Протягивал в темноту предмет, лобкие пальцы Оксаны касались его рук, перебежали по ним, перехватывали носу. Медлил отпустить, хитростью вымогая ласку.

– Куда ведёт лестница? – сделала несколько шагов по ступеням.

– В фонарик. Надо открыть ставни.

Выровнял тканую салфетку, приподнял крышку пианино и снова опустил. Вспомнил, как на платформе приподнимал за руль велосипед, стараясь не звякнуть звонком.

В фонарике повернулась задвижка, заскрипели петли ставен.

– А как попадают на второй этаж? – сошёл сверху голос. Следом за голосом сошёл свет. Ожили голубые цветы на юбке.

– По другой лестнице. Фонарик – одна из множества местных нелепостей. Здесь постоянно и безуспешно борются с нелепостями.

– Не с нелепостями, а с индивидуальностью, – села на ступеньку, выглядывая сквозь стойки ограждения. – Иначе, отчего бы нелепости были так устойчивы? Они не поддаются ударам здравого смысла. Созданы из другого материала.

– Из какого же?

– Из азарта. В азарт вплетена мощная арматура воли и упрямства.

Давно не играл. Вверился памяти пальцев. Перебирал клавиши, осваиваясь, ускоряя темп. Вдруг сказал, не прерывая игры:

– Неосвещённый дом, откуда несутся звуки фортепьяно. Как потом убедительнее солгать соседям?

– Никто не верит лишь чистой

правде. Скажите правду... Ваши пальцы трепещут, будто крылышки эльфа. Оказывается, вы можете быть прозрачным.

– Боюсь вас. Вы слишком сложны, – перебрал слова над быстрым потоком, несущимся по клавишам. – Тем более в темноте!

Рассмеялась звонко. Встала, следила сверху за его руками.

– Нет, я проста. Но когда думаю о простом, становлюсь сложной, – перегнулась через перила. – Играйте, – наклонилась ниже. – Слова парят. Я люблю вас, когда вы играете. Я не уеду сегодня, – отодвинула вазу, поставила локти на пианино.

– Играйте, играйте... – вытянула руку, положила ладонь на его плечо.

– Оксана!

Далеко перегнувшись через перила, через пианино, положила ему на плечи обе руки и беззвучно смеялась. Слышал давление ладоней. Играл восторженно.

– Это уже не Григ, – приблизила лицо. – Это Шопен. Вы не делаете пауз. Виртуоз... Хитрец... Ловите меня!

Шопен взвизгнул. Отлетела табуретка, застряла в коробках. Зашелестев цветами, покатила ваза, грохнулась на клавиши. Они низко нестройно огрызнулись, ваза ухнула на пол, плеснула в ночь веером брызг.

Зацелился за коробки, оттолкнул в нетерпении. Под ногами хрустели осколки. Крепко держал добычу. Щекой чувствовал её волосы. Ключицей слышал её сердце. Оно билось легонько, как у птицы. Мохнатые ели за поляной сплошной чернотой отражали дальний гулкий вой.

– У собаки на душе скребут кошки, – потерлась кошачьим движением.

– Собака чёрная, улыбчивая. Хозяин добродушный, – касался губами её уха. – Отводит по вечерам за огород, привязывает до утра.

– У вас волчьи глаза. Горят в темноте, – отстранилась, разглядывая. – Вы хищник. Несите меня на диван.

– Он горбатый.

– Он ближайший.

Поднёс к дивану, но не отпустил.

– Я влюблён в вас. И в этом не оригинален.

– Всё оригинальное нестойко, случайно. Как слова. Ваши объятия лучше ваших слов.

– Ваши слова сильнее моих объятий. Я не одолею вас.

– Надо пытаться. Надо с чего-то начать.

– Научите, с чего мне начать.

– Распутите мне косу!

Большову хотелось слушаться.

25. Ночь.

Ночь, сожравшая луну, привалилась к сетке переплётов серым боком.

Пальцы растеребили в темноте косу, размельчили на пряди. Гребень вошёл в непослушные вьющиеся волосы и засел в них. Большов понял, что расчесать будет очень трудно, если не невозможно.

Оксана сидела на стуле лицом к окну. Большов откладывал гребень и запуская руки под распушенные волосы, удивляясь их живому теплу. Потом обходил стул, всматриваясь в незнакомое лицо, напуганное безжизненностью. Возвращался и продолжал расчёсывать. Воло-

сы липли к гребню, неохотно отпуская его.

Уводил в темноту руку и крался с гребнем к пробору. Наэлектризованные волосы шевелились навстречу. Перехватывал их рукой. Гребень проваливался в горячий мрак, искрящийся голубым, шёл до концов и туго застревал. Приходилось зажимать концы в кулак и продирать сквозь них зубья.

Оксана расцепила пальцы, уронила руки, выгнулась. Откинула голову на спинку стула, посмотрела перевёрнутым взглядом. Большову стало не по себе. Обвёл указательным пальцем её губы, над которыми был только подбородок, как маленький лысый череп. Оттянул углы губ кверху, навязывая черепу улыбку.

— Вы довольны, как я вас расчесал?

Встала перед ним. Волосы накрыли плечи колоколом, повторяя форму юбки. Смотрел и не узнавал.

— Без юбки силуэт был бы острее, — произнёс вкрадчиво.

Молчала, смотрела широко раскрытыми глазами. Двинулась, словно в забытии. Остановилась. Наклонила голову к плечу. К другому. Шагнула на диван и опять застыла, чуть покачиваясь на выгнутой середине. Лицо теплело неприметной улыбкой. Сказал тихо:

— Вы непонятны мне!

— Я и себе непонятна, — и подкачнулась, вызывая в пружинных недрах глухие раскаты. — Во всём завишу от головы.

Волосы взлетели и опали чуть с опозданием. Но легли на плечи раньше, чем началось движение вверх.

— Идите сюда, — позвала, покачиваясь, слегка взмахивая руками.

— Нет, не решаюсь.

— С таким ростом, с такой внешностью... Кто же тогда решится? Подойдите.

Диван похрюкивал, отвечая лёгким толчком. Улыбалась нежно. Говорила:

— Вы открыли запретную дверь. Расплели косу. Волосы распущены. Я охвачена волшебным ощущением. Подойдите.

Приблизился. Хотел обнять, но она скользила в ладонях. Отталкивалась кончиками пальцев от его плеч. Шептала доверительно, накрывая волосами:

— Люблю, когда меня расчёсывают, когда глядят по голове. Кто расчёсывает, тот и владеет мной. Кто владеет мной, мой раб. Мы с вами на расстоянии одного шага.

Волосы взметнулись, полоснули по лицу когтями. Зажмурился, обхватил её, отрывая от дивана. Мог бы унести, но вернул назад. Поднял руку ко лбу, ища последней спасительной мысли, и, отмахнувшись, роняя сандали, шагнул на диван, принабливаясь к зыби.

— Вы спокойны, не теряете голову, — привалилась щекой к его плечу. — Холодны... Правильно. Нечего спешить!

Расстегивала на ощупь его рубашку. За прикосновениями бежал озноб.

— Скажите, у вас майка надета на голое тело? — спросил вдруг.

— Не помню... — вытянула вверх руки, глянула на него пустыми глазами с казённым штемпелем ночи.

Стягивал дырчатую безрукавку. Диван вздыхал, рассылая в темноту сладострастные сигналы, которые дробили слабый свет окон, оставляя блики на предметах, на осколках вазы.

– Майка... Юбка... – юбка упала и исчезла. – Больше ничего нет... – водил руками по голому телу.

– А спортивное трико? Люблю аттракционы! Вы ведь уже забыли, когда в последний раз прыгали на диване? Наденьте и вы спортивное трико, – сдёргнула с него рубашку. – Качните!

Диван спружинил молодой спиной, вскидывая концентрат объятия. Большой схватил Оксану в охапку, путаясь в разметавшихся волосах, теряя равновесие. Выбросил вперёд руку в поиске опоры.

Обрушились на содрогнувшийся диван. Оксана дрожала истерическим смехом. Отодвинул пряди с её лица:

– Цела? Дурак я, дурак.

– Лучше объявить себя дураком, чем и в постели помнить о себе, как о выдающемся писателе.

В четыре руки отводили вездесущие искрящие волны. Не справились. Перекатывались по дивану, опутанные сетью волос. Дышал ей на ухо сквозь них:

– Снимите спортивное трико. Обнажите хоть краешек.

– Оно давно снято. Берите меня голыми руками, – бормотала, засыпая, засыпая волосами. – От меня ничего нельзя добиться силой. Только нежностью. Вы угадали.

Диван названивал пружинами. Валик в изголовье вывернулся из своего ложа, скатился. Шаткая стопка журналов у подножья растекалась, скользя глянцевыми обложками, шелестела. Шелестели невидимые листья на чёрных ветках за чёрными окнами. Чёрная собака молчала вдалеке. Большова отпускаяло неудобное чувство зависимости.

26. На станцию.

Оксану разбудило горькое чувство независимости. Осторожно соскочила с дивана, торопливо оделась, поминутно оглядываясь на спящего, совсем чужого.

– Гений Сергеевич, у вас есть расписание электричек?

– Ещё очень рано... Боже, какой разгром, – сел, неуверенно потянув на себя простыню, озираясь потрясённо.

– Пора. Вставайте. Заплетите мне косу!

Оставила его, ушла по осколкам вазы в фонарик.

– Я не умею заплетать! – встревоженный голос Большова вознёсся следом по лестнице, вылетел в окно и упал с высоты в росу.

– Я не могу уйти лохматая, – ответила, перевешиваясь через подоконник. – Поставьте стул и возьмите гребень.

– Надо же. Слышу вас не с лестницы, а у себя из-за спины, из окна. Но как точно вы определили моё место рядом с вами. То служу вам конюхом, то шутом, то парикмахером.

Торжественно сошла по лестнице. Села на предложенный стул. Откинула волосы назад, рекомендуя Большову распушённую вселенную, где сгустками галактик парили образовавшиеся за ночь колтунны.

– Почему обязательно коса? – собрал волосы в хвост, глянул со стороны.

– Заплетите особенно туго. Иначе выбьется прядь, и я за себя не отвечаю. Вы же сами были тому свидетелем.

Расчёсывал. После долгого сосредоточенного молчания изрёк:

– *Расплести-то было легко.*

– *Захватывающий соблазн в том и заключается, чтобы расплести, не зная, как заплести, – подняв руки, помогала перекрещивать и удерживать пряди.*

Большов не мог видеть её лица, поэтому оставила выражение без контроля, суровым и пустым. Мыслей не было. Если бы были, были бы недобрыми.

Первый жёлтый луч надсёк наискось переплёты. Облачная белизна заложила ватой все проёмы, кроме форточки, где сиял голубой, словно там вставили цветное стекло. Смотрела в окно с птичьим желанием вылететь на волю.

– *Только и успел, расплести и заплести косу.*

– *Это не так мало. Не прибедайтесь. Голова полна фантазий. Проводя по ней гребнем, вы ласкаете фантазии, и они перестают быть сухим кормом. Фантазии всегда сильнее реальности, потому что закончены. Законченность во власти творчества. Незаконченность – качество нерадивой жизни.*

Промолчал. Бестолково суетился за спиной, подхватывая убегающие концы. Вдруг объявил с обречённостью:

– *Я писатель. Привык питаться сухим кормом. И вообще... Никто не сможет расчесать голову, лишившуюся волос.*

– *Гений Сергеевич, вам убирать-ся одному. Жалко вазу?*

– *Нет.*

Отступил, оглядывая дело своих рук. Вселенная неуклонно свер-

нула в плетение.

Поднялась, оттолкнула стул, обняла парикмахера, уводя глаза:

– *Фантазии исчерпаны. Но они запоминаются. А заурядные ласки забываются, поэтому хочется их повторять. Но песок уже течёт в другую сторону, меняя приоритеты.*

Отстранилась, упираясь ему в грудь ладонями, но глаз не подняла. Оглаживал косу у неё на спине:

– *Песок всегда течёт в одну сторону.*

– *Время можно перевернуть...*

– *Что случилось за то время, пока мы оба спали? – спросил прямо.*

Опередил. Не успела уйти. Ещё не назвал, но уже ощутил давление ветра неминуемого охлаждения.

– *Пойдёмте на станцию, – высвободилась, отворила дверь. – Пока туман. Пока проснулись только вороны, а добрые соседки ещё не включили бдительность.*

– *Мне жалко горячие ночные волосы, – сказал ей в спину, выходя следом.*

Отсчитывала шаги в обратном направлении. Шёл рядом молча.

– *Мне хотелось быть с вами открытой. Но ничего не вышло.*

– *Из-за меня?*

– *Из-за меня. Я выбрала вас, но предъявила слишком высокие требования.*

– *Я не обижен. Одинок. Каждый одинок. Одиночество неисчерпаемо.*

– *Оно может скрашиваться случайным доверием, мгновенным преклонением головы на дружеское плечо.*

– *На чьё же плечо вы кладёте голову?*

– На ваше. Мы идём на станцию, смотрим вперёд. Мы сейчас расстанемся. Хочется говорить правду.

Смотрел с сомнением.

– *Пользуйтесь моим доверием, нежеланием защищаться, – разрешила Оксана.*

– *Я расстроен, но не удивлён. Тогда ответьте. Почему я не могу назвать вас возлюбленной? Кажется бы, это зависит только от меня. Но на самом деле от вас. Только вы знаете, чья вы возлюбленная. Скажите, через любовь к кому вы не можете перешагнуть, чтобы ответить на любовь другого?*

– *Проницательный писатель! Верно угадали, – обернулась к нему, взглядывая пристальнее. – Через любовь к кому я не могу перешагнуть, чтобы ответить на любовь другого... Да, он есть. Но далёк. Ситуация не извлекаемая. Художник. Одноклассник. Давно уехал.*

– Почитайте ваши стихи, – попросил мягко.

– Нет. Не смогу. Стыжусь обнажённости. Не нажила ещё писательского бесстыдства, слишком мал стаж. Бесстыдство имею только обывательское.

– Вы хорошо пишете. Надо публиковаться, выходить к читателю.

– Да, надо. Но, как вам объяснить. Вот вы стали писателем последовательно и постепенно. Надёжно. А я стала писателем вдруг. В один прекрасный день. Действительно прекрасный... Я смертельно боюсь утратить эту способность так же внезапно, как она явилась. Я постоянно под угрозой. Стремлюсь

максимально использовать отпущенное мне время. Некогда отвлекаться на публикации. Смотрите, лютики!

– Нет. Другие цветы. Болотные. Низина. Сыро, – остановил её.

– Да. Вижу. Всё равно. Нарву.

Сочная гляцевая зелень. Крепкие лепестки вокруг тугих, ощетилившихся тычинками серединок. Сорвала несколько жилистых стеблей. С жёстким вощёным букетом поднялась на платформу.

– До свидания, Гений Сергеевич.

Обняла его свободной рукой за шею.

– *Так и не видела ваших астр.*

– *Астрам время осенью. Жаль, мне не свергнуть вашего идола, я слишком банален для избавителя.*

– *Далеко не банальны. А я в рабстве у моего напрасного и случайного дара.*

«Осторожный, бесполезный Большов. Вы оживаете, лишь становясь Героем романа. Но к чему мне пленять призраков своих фантазий? Всё заключается в разнице между стихами и прозой. Я помню о вас, когда пишу прозу. Но забываю о вас, когда пишу стихи».

27. Картинки и стишки.

Яркое небо лета и ровная зелень лета. Серое небо осени и яркая листва осени. Отличия острые, ранящие призывали смириться и решиться на осень, на зиму. Отплыть в суровое многомесячное плавание. Рябины в парке обморочно бледнели, стояли нежно розовые.

Утром в подъезде на стенах, крашенных зелёной масляной краской, обманными поцелуями лета лежали

солнечные пятна. Взглядывала на них с чувством потери. Лифт опускал на первый этаж, опаляя желанием письма. Зависимость от почтового ящика сохранялась. Не удавалось пройти мимо, не заметив его. Взглянула. В ящике лежал конверт.

Длинный белый конверт, заграничная марка, линейки, над ними знакомые мелкие каракули. Её адрес, её имя. Его адрес, его имя. Прощупывала дрожащими пальцами странно тонкий конверт, ничего в нём не находила. Вскрыть не посмела.

«Неужели там ничего нет? Что ж, и пустой конверт для меня событие. Буду рассматривать казённые надписи, сделанные неповторимым почерком. Нестерпимо! Но разве телефонный разговор в апреле был более содержателен? Очередной порыв, внутри которого не находим слов».

Конверт не распечатанным увезла на работу. Ощупывала всю дорогу и не могла решиться заглянуть внутрь. Если что-то и было там, то бесплотное, немислимо ранимое. Еле доехала. Положила перед собой на рабочий стол. Осторожно оторвала край. Он свернулся в кружевной завиток.

В конверте лежал бесплотный осколок детского сна цвета выцветшей старинной фотографии. Размытое отражение белой садовой скамейки на краю воды. Чугунные витые ножки, просевшие в землю. Две фигуры на скамейке. Круги на воде... Круги множилось, напоздали друг на друга. На краю скамейки, закованный в целлофан, лежал букет белых роз. К берегу подплыла огромная рыба. Разевала рот. Среди лягушачьего хора один голос явственно выкрикивал:

– Куррева! Куррева!

Дождь висел поблизости. Было серо. Целовались. Сидели, обнявшись.

– Поехали, я покажу тебе свои картинки? – звал настойчиво. – Поехали?

Называл картины картинками, скрадывая их несомненную значительность, их неоспоримую силу. Испугалась. Отказалась ехать. Букет был длинным и плоским. Уходила по аллее вдоль кирпичной стены. Чувствовала себя облупленной девушкой с веслом, глядящей в одну точку невидящими глазами. Спустила несколько дней, ходила в одиночестве по прохладному залу. В глубине не больших застеклённых картин, невозможно красивых, вычурных, цветных, видела только своё отражение. Ушла измученная восхищением...

Опасаясь внимания сотрудников, спрятала в конверт картинку, точную иллюстрацию к своему стиху, вобравшему давнее воспоминание.

«Картинки и стишки! Как я могла не догадаться? Каждый в меру своих сил и способностей хранит самое дорогое. Вадим высказался однозначно. Ничто не может быть более убедительным. Теперь моя очередь. Ответ непременно будет стихом. Какой выбрать? Тот? Или другой? За мной двойное признание. В стихах и в любви».

Лили дожди. Стих о белой скамейке не понравился, он был одним из первых. Искала другой. Стихи вправду показались стишками. Ни один не выбрала. Все отвергла, как несовершенные, недостойные картинки. Промедление мучило. Ещё больше мучила обязанность прийти

– Ужасно, ужасно... – твердила безостановочно. – Ужасно, ужасно!

Жалась к ящику. Скакала безумными глазами по стене дома напротив, лихорадочно отсчитывая ряды размашистого бутафорского руста. Пять по вертикали, семь с половиной по горизонтали. Осела на холодный камень парапета.

«Ужасно! Что делать? Собраться с мыслями, формулировать объяснения, оговорки, ограничить распространение слова «любовь» условными пределами стиха. Только стиха!»

Никогда не говорила ему о любви. А он говорил. Но так давно. Будто этого не было. Было. Было! Когда он начал возвращаться из небытия вслед за букетом лютиков. Разве такое забудешь. Просто до сих пор не могла поверить своим ушам.

«Он признался, а я не поняла. Слишком перемешалось настоящее и придуманное. Невозможно было поверить в то признание. Оно сразу превратилось в заповедную тайну, стало нереальным. Явь и вымысел, прошлое и настоящее во мне неразделимы. Но есть давние записи. Они подтвердят».

Соскочила с парапета. Побежала домой. Разбросала бумаги, схватила искомое. Начало первого листа было отрезано ножницами. Что отрезала, когда, что хотела скрыть? Не вспомнила. Стоя посреди комнаты прочла с обезглавленной середины:

«...мелочи снова имеют ценность. Было человек десять. Пошли к Феде. Вадим сел во главе стола. Роза рядом со мной на диване. Попили, попили, поели. Потешались над Палкиным. Я ушла в другую комнату. Рассматривала книги. Ва-

дим пришёл минут через десять. Я не ожидала. Вошёл и дверь закрыл. Сказал: «Почему ты не звонишь? Я по тебе соскучился». Поцеловал в лоб. Я: «Ты тоже не звонишь».

Ходил по комнате и говорил: «Ксан, перестань требовать, чтобы я всё время тебе признавался в любви. Я болен работой. Работа для меня всё. Ты мучаешь, отрываешь, заставляешь что-то тебе отвечать начистоту. А я не могу. Я готов на колени перед тобой встать, только не требуй. Я тебя люблю. И это навсегда. Я не пробовал, и не хочу, и не могу с этим бороться. Я всё время, каждый день и ночь думаю о тебе и говорю с тобой. Но, ради Бога, не надо требовать ничего».

Стою и слушаю, смотрю на него и ничего не чувствую, кроме – как мне хорошо. Тут зашумели в прихожей. Палкин заглянул. Все пошли на улицу. Вадим схватил меня под руку, стал кричать всякую ерунду – это для всех. Палкин: «О чём вы там разговаривали?» Мы в один голос: «О любви». Палкин: «Вам ещё не надоело? Вы уже сто лет о любви говорите и никак не договоритесь».

Все уехали, а мы отстали. Он говорил, что его чувство ко мне похоже на первую влюблённость, когда относишься к человеку, как к святыне, как к иконе, к которой не обязательно прикасаться, чтобы чувствовать глубоко. Я оцепенело молчала. Он: «Ты молчишь, и я рад, но это же меня злит».

Вагоны нас везли. Вадим говорил немислимые слова. А я проваливалась на дно безмерного покоя в райскую апатию. Как младенец в материнских руках. Если бы это продолжилось, я бы впала в летаргический сон и не проснулась от счастья.

Проводил до дома. Мороз, снег, ночь. Вошли в подъезд. Встали у окна на втором этаже. Сказал: «Хочу, чтобы ты была для меня женщиной. Хочу и боюсь этого. Ну, что ты молчишь? Скажи что-нибудь». Я сказала: «Давай лучше я тебя обниму». И обняла, как умела. Он целовал меня в глаза, и в лоб, и в губы.

Я оказалась меньше, чем себе казалась. Затылок пришелся ему под подбородок. Подсадил на подоконник. Боялась смахнуть с него очки. Снял сам. Гладил мне шею, ухо. Снег сыпал за окном. Слетела серьга. Громко щёлкнула. Отцепилась другая, покатила по лестнице. Сказал: «Всё сыплется». Я засмеялась, обняла его за шею, прижалась к нему лицом, смотрела в его глаза. Он улыбался. Такой улыбкой невозможно управлять, ею не всем и не по всякому поводу улыбаются.

Глянула на часы, два! Юра ждёт, это ещё впереди. Сказала: «Пора домой». Сразу надел очки и стал спускаться. Позвала: «Подожди». Остановился, вернулся. Я взяла его двумя руками за воротник: «То, что я говорила тебе плохого, это всё неправда. А что хорошего, то правда». И пошла вверх. Он стоял внизу и не уходил, пока я не захлопнула дверь квартиры».

Долго сидела без движения. Нашарила ключи, вышла на лестницу, спустилась на второй этаж, тот самый. Смотрела в окно, в то самое, пытаюсь представить рядом с собой Вадима.

«Когда я взяла его за воротник, надо было сказать: «Я тебя люблю!» Не хватило духу... Он хотел, чтобы я была для него женщиной. Почему я не смогла стать ею, если и он, и я хотели этого? Что мне помешало?

Он готов был любить меня любую. Не требовал от меня равенства. Ничего не требовал. Не он был причиной разрыва».

Нежнейшая осень бродила за окном. Играла тёплой пылью. Скребла по асфальту сухими листьями, свернувшимися завитками канделябров.

«Это я не смогла согласиться с неравенством и быть для Вадима только женщиной. Я интуитивно боялась, что он перешагнёт меня и навсегда уйдёт, едва я стану для него женщиной. А как быть равной ему, не знала. С той ночи, когда всё сыпалось, начался кошмар. Он тянулся до белой скамейки у воды и дальше до итогового разговора на набережной. Я хранила в книге засушенную розу из букета, который был как весло, и мстительно выбросила её за год до стихов. Вот тогда и забыла о признании Вадима».

На подоконник за стеклом упал шершавый барочный завиток. Пламенно рыжий, с проступившими нитяными жилами.

«Быть равной ему. Тогда это условие было невыполнимым. Теперь его картинкам я отвечаю моими стихами. Осталась самая малость. Произнести не косвенными словами стихов, а своими, простейшее: «Я тебя люблю».

Ранний октябрь, похожий на поздний август, приблизил лик к запылённому стеклу. Приблизил синий двор с изумрудными деревьями, с коричневыми листьями в траве газона. Опять всё сыпалось. Сухие листья сыпались с деревьев. Шуршали. Застреливали в отмытой дождем траве.

«По их окраске беличьей и лисьей я догадаюсь, что уже октябрь. Ритмизованная строка. К слову «ок-

тябрь» невозможно подобрать рифму».

Быстро побежала наверх, крепко держа в уме строку. Стих складывался с каждой ступенькой, грозил распасться в беге. Боялась не донести. Нетерпеливо хлопнула дверью. Кинулась к блокноту. Записала. И сразу принялась править, додумывать, пока не увидела окончательное:

Вокруг шуршат коричневые листья,
Пересыпая оттиски следов.
По их окраске беличьей и лисьей
Предвижу наступленье холодов.

Вечерней тучей солнце с неба стёрто.
Фонарь расплылся в поздней синеве.
Я отослала письма в царство мёртвых.
Сегодня мне доставили ответ.

И я хожу туда-сюда по скверу,
Где шелестит холодная трава.
Итак, ты жив. Опять воскресла вера.
А может, просто я уже мертва?

Поздно вечером письмо гулко стукнуло о дно почтового ящика у метро.

28. «Я тебя люблю».

Стала книгой картинок и стихков. Перелистывала себя самозабвенно. Была пьяна до головокружения, до беспамятства. Отрезвление не наступало. Опомилась однажды стоящей с ключом от почтового ящика на площадке первого этажа. В ящике были газета и телефонный счёт.

В глухой паузе неопределённости шла по какому-то коридору и услышала музыку. Музыка остановилась. В коридоре было пусто, свет пригашен. Значит, вечер. Что за коридор? Пошла на звуки. Открыла дверь, встала на пороге.

За рядами пустых стульев не было видно рук исполнителя. Только плечи и затылок. Верхний свет бил ему в темя. Когда он откидывал голову, нос попадал под луч и горел на затенённом лице. Рассыпанные волосы лежали по плечам и светились, особенно к концам. Сильно отросли. Не заметила, когда. Сколько прошло веков?

Подошла, увидела волосы близко. Тонкие-тонкие нити блестящего металла. Парчовые волосы. Села на крайний стул у него за спиной.

«Надо же, какие у Большова драгоценные волосы. Хорошо, что он оказался здесь. Единственная моя привязанность».

Слушала музыку. Не могла выйти из состояния оцепенения, ирреальности бытия. Он играл.

С благодарностью узнала Шопена, усечённого ласками на даче. Чуть сползла по спинке стула, вытянула ноги, рассматривая оббитые концы ботинок, разводя и сводя носки, постукивая ими друг о друга.

Плавно отпустил клавиши, повернулся к ней.

Перекатила голову, сказала грустно:

– Если бы вы с таким вдохновением печатали на машинке, вы бы писали шедевры.

Оставил пианино. Сел рядом, двинув стулом. Виногато взглянула. Пожала плечами, отвернулась.

– Никогда не мог себе представить, какая вы, когда любите, когда открыты, не враждебны. Вы уходите? Я прощаюсь с вами?

– Не прощайтесь. Не прощайтесь... .. Я мечтаю его увидеть. Он

мечтает. Мы верим. Но это вера в невозможное. Мы любим друг в друге совершенство. Встречи показывают, как мы несовершенны...

Вы играли здесь и разбудили меня. Я будто в дурном сне и не могу проснуться. Спасибо вам.

Уткнулась лбом в жёсткое плечо его тиджака, накрыла рукой его сплетённые пальцы.

– Это я должен вас благодарить. Отказался от привычного самообмана. Я изменился после знакомства с вами.

– А три странички в день? – глянула лукаво.

– Без этого не могу.

– А как обошлось с вазой?

– Её уронил кот. Но несколько черепков я сохранил.

– Поиграйте ещё, пожалуйста.

Жатые занавески чинно висели на ночных окнах, снова крепко запечатанных на зиму. Чудилось, музыка раскачает занавески, они начнут колыхаться. Но этого не случилось.

– Гений Сергеевич. А ведь вы – мой Главный Герой, которого я создала, лелеяла и теперь отпускаю на волю. Я прожила с вами целую жизнь. Но где? Вы можете сказать мне, что на самом деле между нами было? Или ничего?

– Было. Вы стояли в нарочно созданной вами тени и пускали оттуда короткие солнечные зайчики.

– Вымысел и действительность смешались. Я не решусь разъять их. Я хотела написать роман о фантастическом явлении стихов, а написала роман о любви к учителю, который пообещал понимание и доверие. Я хотела в действительности прожить роман с учителем, а в итоге пережила его в вымышленном

мире. Я спрашивала себя, где я на своем месте? А теперь знаю – моё законное место внутри моих замыслов. Написав роман, я вышла из него и рассталась с его Главным Героем. И теперь одинокая и бездомная.

– Почему я не поймал солнечного зайчика, и не прошёл по лучу в обратную сторону, чтобы узнать, откуда он? – гладил клавиши, не оборачиваясь.

– Настоящее превратилось в вымысел именно тогда, когда вымысел превратился в настоящее. Роман о любви к стихам и к человеку, сказавшему их, не написан, но состоялся. Я не пишу, я живу его. Но его Главные Герои обречены на разлуку, подчинённые условиям, которые диктует служение искусству, как бы высокопарно это ни звучало. Я опять на пороге. Или я всегда на пороге?

– Вы на верном пути, – накрыл клавиши крышкой.

– До свидания?

– Да, до свидания, – и оглянулся. – Но я чувствую, что по какой-то прихоти сегодняшнего вечера, по капризу настроения, любое продолжение совпадёт с началом. Принесите мне ваш роман об учителе.

Кивнула согласно.

Ушла одна. Навстречу торопились съёжившиеся люди с красными носами, слезящимися глазами. Словно заплаканные. Третий день шёл неравный бой осени и зимы. На поле боя лежали тысячи окоченевших листьев. Их цементировал мелкий нескончаемый снег. Ветер задыхался от снега.

Ждала ответа от Вадима. Картинки не приходили. Простудилась, слегла с температурой. Юра, не привыкший видеть её больной, был недоволен и недоверчив. Но, погля-

дев на градусник, перепугался, забегал, захлопотал.

Вечером был молчаливым и отчуждённым. С потаённым страхом следила за ним сквозь болезненную слабость. Ужинал один, двигал за стеной табуретки. Забылась в жару. Вошёл в комнату, встал над ней. Очнулась.

– Тебе, – положил на подушку письмо и сел к столу.

Испугалась, закрыла глаза. Не прикоснулась к письму. Тайна была беззащитна, только тонкий конверт. Юра услышал, как она стучит зубами в ознобе, накрыл вторым одеялом и ушёл. Громыхал посудой. Принес чаю, поил, придерживал за плечо. Звякала зубами о блюде, страдая от бессилия и раскаяния. Юра отнёс нераспечатанное письмо на подоконник.

– Уберу и не буду читать, – сказала хрипло.

– Откуда ты знаешь, от кого письмо? Ты даже не посмотрела.

– По тому, какой ты... – закашлялась, морщась, кладя ладони на шею.

Белый конверт одиноко лежал на подоконнике, опираясь длинной стороной на горшок с геранью в махровом розовом цветке. Один Бог знал, какая в письме спрятана картинка. И Вадим. Оксана догадывалась и не решалась вскрыть письмо, зная, что не сможет не показать его Юре.

Заснули в разладе. Приснилось: она пришла домой, а Юра протягивает ей вскрытый заштемпелёванный конверт. Она узнаёт мелкий расхлябанный почерк. Она недовольна, что конверт вскрыт. Она не знает, о чём письмо, но говорит возмущённо: «Зачем разорвали конверт, если письмо мне?» Берёт конверт, оттуда выпадает исписанный,

сложенный вчетверо лист и улетает под диван.

Проснулась от кашля. Горло драло. Конверт на подоконнике светился.

«Надо подменить картинку!»

Достала письмо со скамейкой, взяла новое и ушла на кухню. Поставила чайник. Быстро распечатала конверт, положила в него скамейку. А новую картинку, очень откровенную, сунула в старый конверт и спрятала.

Мелкими частыми глотками пила чай. В голове скакали обрывки стихов. Беззвучно читала их, шевеля губами. Конверт вернула на подоконник. Спать не могла. Лежала. Картинка, стоявшая перед глазами, стала оживать. Тела свились в жгут, растянувшийся от земли до неба, которое казалось потолком. Не так волновалась из-за обнажённости тел, как из-за скучного пейзажа, где тела предавались любви, из-за неустойчивой вертикали, олицетворявшей унылую неприкаянность.

Утром взяла листок и написала на нём один из давних своих стихов.

Когда уходит час надежд
И наступает час смиренья,
Прекрасные стихотворенья
Слагает дательный падеж.

Когда уходит час безумств
И наступает час расплаты,
Невосполнимые утраты
Рождают скорбную слезу.

Когда уходит час тревог
И наступает миг блаженства,
Из половин мужской и женской
Объятье созидает Бог.

Отправила письмо через неделю, когда в первый раз вышла на улицу.

Специально поехала на почтамт, засунула тонкий конверт в большой деревянный ящик в углу. Не было прежних колебаний. Возвращалась домой с ощущением, что куда бы теперь ни шла, только удаляется. Всё было в снегу.

«Мои стихи хороши! Я напрасно обидела их недоверием. Они смелее и честнее меня. Если мы с Вадимом когда-нибудь встретимся, и я струшу, стихи не дадут соврать. Даже если я буду молчать, молчание только подтвердит всё, названное стихами».

Метель близко придвинула мокрое холодное лицо, от неё невозможно было отвернуться. С метелью испортилось настроение. Последним пришло письмо, в котором на пустом листе стояли только дата, время и название станции, где расстались восемь с половиной лет назад. Вадим назначил тот единственный день в году, у которого была самая длинная ночь.

Из окна рабочего кабинета был виден перекрёсток, изъезженный машинами, истоптанный людьми, взметнувшимися в предчувствии близкого Нового года. Посреди площади, на заснеженном газоне у памятника самоубийце навзничь лежал пузатый Дед Мороз. Его надували насосами. Он был дряблым, колыхался на ветру, был омерзительен и страшен, как прилёгший отдохнуть жирный великан.

Вечером его установили, милашку. С опаской прошла мимо и про-

валилась в пропасть метро. Летела вниз, слышала свист ветра в ушах. Пыталась зацепиться взглядом за людей, станции, поезда, но срывалась и летела дальше. Остановить могло лишь столкновение. Невозможно было отклониться. Зажмурилась, ударилась Вадиму в грудь, схватила руками за воротник:

– Я тебя люблю!

– Валя. Валя. Валя, – твердил тихо. Толпа обтекала, скользя безразличными взглядами, стягивая объятие белым шумом множества голосов, гулом набегающих поездов. – Валя моя... Так нам и не удалось расправиться с первой любовью.

В серой пустоте головы пронеслись раскалённые пули точного смысла. И исчезли. Сосредоточенно настигала их, улавливая ритмику близкой строки. И поймала. Вскинула на Вадима широко распахнутые глаза.

– Это надо сказать не так... Нет, это надо написать!

Торопливо достала блокнот, карандаш. Из-под руки по одному появлялись слова. Их читали вдвоём вслух: Мы... вздохнули... расправившись... с... первой... любовью... но... последней... опять... оказалась... она. Взглянули друг на друга, улыбаясь глазами, и вернулись к листу, перечитывая про себя:

Мы вздохнули, расправившись
с первой любовью,
Но последней опять оказалась она.

